

A movie poster for the Russian film 'Сапёр: Панцирная пехота' (Sapper: Armored Infantry). The central figure is a young man, Denis Gromov, wearing a military uniform and a green armored vest. He is crouching on a muddy bank, holding a thick rope. The background shows a river scene with soldiers in small boats, explosions, and a burning shoreline under a dramatic sunset sky. The title 'САПЁР' is written in large, white, bullet-riddled letters, and 'ПАНЦИРНАЯ ПЕХОТА' is in red below it. At the bottom, it says '★ КНИГА 2 ★' (Book 2).

ДЕНИС ГРОМОВ

САПЁР

ПАНЦИРНАЯ ПЕХОТА

★ КНИГА 2 ★

Денис Громов
Сапер. Панцирная пехота
Серия «Сапер», книга 2

<https://litres.ru/74496423>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сапёр из нашего времени приходит в себя в июне 1943 года — в теле молодого красноармейца, которого с маршевым пополнением отправили под Курск.

Вокруг подготовка к главной битве войны: ночные минные поля, тысячи мин за смену, поля, которых никто не записывает. Батальон теряет людей не от вражеского огня, а на собственной работе. У него нет ни техники, ни времени, зато есть опыт, методика и умение видеть то, чего не видят другие.

Он превращает работу сапёра из смертельной лотереи в точный расчёт.

Немцы называют его Кротом.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	11
Глава 2	28
Глава 3	53
Глава 4	78
Глава 5	103
Глава 6	129
Глава 7	154
Глава 8	180
Глава 9	205
Гл	229
Конец ознакомительного фрагмента.	230

Денис Громов

Сапер. Панцирная пехота

Пролог

Гауптман Эрих Хальм не любил, когда его торопили, и за три года войны почти отучил начальство это делать.

Способ был простой. Если его торопили, он останавливался совсем.

Садился на подножку машины, доставал блокнот и начинал считать в столбик — молча, не поднимая головы, покамест торопивший не уходил. Дважды на него писали рапорт. Оба раза дело кончилось ничем, потому что после Хальма мосты не восстанавливались по три месяца, а дороги не открывались до весны, и это умели ценить.

Сейчас торопил обер-лейтенант Кребс из дивизионного штаба, и торопил уже двадцать минут.

— Господин гауптман, у меня приказ, — напомнил он. Дивизия начинает отход в ночь на двадцать первое. К этому времени всё должно быть закончено.

Хальм смотрел на реку.

Место было хорошее. Небольшая, метров сорок, речка с илистым дном, и через неё — деревянный мост на четырёх сваях, поставленный, судя по всему, ещё до той войны и с

тех пор трижды чиненный.

Мост был плох. Они разрушат его сами, при отходе, и русские наведут переправу за сутки. Они это делают быстро, и в этом вопросе им нужно было отдать должное.

Интересен был не мост.

Интересна была дорога, которая к нему подходила. С востока она шла по низине, и на протяжении двухсот метров перед мостом её нельзя было объехать ни справа, ни слева. Справа болото. Слева обрыв.

Двести метров, где всё, что едет, едет по одной колее.

— Господин гауптман, — не отставал тот.

— Я вас слышу, Кребс, — отозвался Хальм, не поднимая головы.

— Так что мне доложить? — не отставал он.

Хальм достал блокнот и открыл на чистой странице.

— Доложите, что я осмотрел объект и что мост будет разрушен в срок.

Кребс переступил с ноги на ногу. Ему было двадцать три года, он был в этой должности пятую неделю и до сих пор не понимал, зачем при дивизии держат человека, который не подчиняется никому в дивизии.

— А... остальное? — растерялся обер-лейтенант.

— Остальное вас не касается, — отрезал Хальм, а затем присел на корточки и потрогал грунт у обочины.

Песок с глиной. Держит. Не оплывает.

Он представил себе, как это будет.

Мост взорвут в ночь на двадцать первое, и русские наведут понтонную переправу — числу к двадцать четвёртому, если у них есть парк. К двадцать шестому, если парка нет и придётся везти. Потом по этой дороге пойдёт то, что идёт всегда: сперва боевые части, за ними артиллерия, за артиллерией — тылы.

И вот тылы поедут по одной колее, потому что объехать негде.

Он открыл блокнот и стал чертить.

Двести метров. Заряды не в полотно, а под, с обочины, подкопом, так, чтобы сверху земля осталась нетронутой. Три группы по три. Первую группу — на сто двадцатом метре, где дорога слегка проседает и где всякий, кто проверяет, обязательно замедлит шаг и остановится.

Он подумал и приписал сбоку: «Ложные: четыре, по обочине, на 40–90 м. Обнаружить легко».

Потом остановился.

И зачеркнул.

Кребс, стоявший в трёх шагах, увидел это и удивился: гауптман Хальм никогда ничего не зачёркивал.

— Господин гауптман, что-нибудь не так? — насторожился Кребс.

Хальм не ответил.

Он смотрел на зачёркнутую строчку и думал о том, о чём думал уже третий месяц.

В июле, на участке южнее, что-то изменилось.

Он это заметил не сразу. Сперва был хутор — объект, на который он потратил девять дней в марте и который они вскрыли за шесть суток, из них двое суток не работали вообще. Он тогда решил, что это случайность.

Потом был скат под деревней, где он девять дней строил всё против человека, ищущего укрытие, а они прошли по открытому.

Потом был проход в заграждении, из которого разведка вышла живой, обойдя его закладку вплотную по левой кромке — то есть человек, который вёл, вернулся и проверил собственный проход.

А потом ему принесли русскую печатную книжечку, снятую с убитого сержанта.

Двадцать страниц. Без риторики, без обычных их лозунгов. Разделение операций между номерами расчёта. Обязательная схема поля с привязкой к постоянным ориентирам. Учебное поле, тридцать часов на человека.

И таблица в конце: две тысячи четыреста против ста девяности.

Хальм читал её дважды и на второй раз понял главное.

Эту книжечку писал не штаб. В штабе не считают в таких единицах — в штабе считают выполнение плана. Так считает человек, который сам стоял на поле и сам писал письма матерям.

Он тогда впервые за войну испытал то, для чего у него не нашлось слова. Ближе всего было — облегчение.

Полтора года он строил против людей, которые его не видели. Они гибли, а никто из них до последней секунды не понимал, на чём именно.

А теперь на той стороне появился кто-то, кто может его «увидеть».

— Кребс, скажите мне одну вещь.

— Слушаю, господин гауптман.

— Вы когда-нибудь играли в шахматы по переписке? — поинтересовался он.

Обер-лейтенант растерялся. За пять недель гауптман Хальм заговорил с ним не по делу впервые.

— Никак нет, — растерялся тот. — У меня отец играет.

— Отвратительная игра, — поморщился Хальм и закрыл блокнот. — Ход идёт две недели. Пока он идёт, ты успеваешь передумать про своего противника всё, что можно передумать про живого человека. К тридцатому ходу ты знаешь его лучше, чем собственную жену, и при этом не знаешь, как он выглядит.

Он поднялся и отряхнул колени.

— И вот однажды приходит открытка, и по одному ходу становится ясно, что он тебя тоже читал. Всё это время.

Кребс молчал, потому что не понимал ни слова.

— Ложных не будет, — обронил Хальм, глядя на дорогу. — На этом объекте — ни одной.

— Простите, я не понял.

— Запишите себе, если вам интересно, чем я тут зани-

маюсь. Приманки ставят для того, чтобы противник нашёл, успокоился и доложил. Это работает против человека, который ищет, где может лежать.

Он пошёл к машине.

— А против человека, который ищет, где он сам решил, что лежать не может, приманка работает наоборот, — прибавил он через плечо. — Он найдёт четыре штуки и после этого не успокоится, а насторожится. И станет искать вдвое внимательнее. Я ему помогу, если поставлю.

Кребс поспешил следом.

— Господин гауптман, а если он всё-таки найдёт? — не отставал Кребс.

Хальм остановился у дверцы.

— Тогда двести метров дороги будут открыты на девять дней позже, — обронил он. — И это тоже результат, оберлейтенант. Просто его никто никогда не считает.

Он сел в машину и раскрыл блокнот на коленях.

Водитель — ефрейтор Штайнер, возивший его с сорок первого и научившийся не задавать вопросов, — молча развернулся на узкой дороге в три приёма.

Хальм в это время думал не про мост.

Он думал о том, что за последние два месяца впервые за войну стал делать глупости.

Три сообщения на кирпичной кладке — это была глупость. Профессиональная, объяснимая, но глупость. Инженер, который оставляет подпись на объекте, перестаёт быть

инженером и становится человеком, которому нужно, чтобы его прочли.

Он это понимал совершенно отчётливо.

И знал, что напишет четвёртое.

Пока водитель разворачивался, гауптман Эрих Хальм успел написать ещё одну строчку — не про этот объект, а в конце тетради, где у него шли записи не по службе.

«Он не отвечает.

Я оставил ему три сообщения. Первое в марте, второе в июле, третье в августе, в Орле. Ни одного ответа.

Это, вероятно, самое неприятное из всего, что я о нём знаю».

Глава 1

Полуторка шла на север третьи сутки.

Это была не дорога, а перемешанная тысячами колёс глина, и от Орла до Брянска мы тащились столько, сколько до войны поезд шёл от Москвы до Крыма.

Я сидел в кузове на своём вещмешке, привалившись к борту, и смотрел как мимо проползает то, что осталось от Орловской области.

А осталось немного.

Деревни стояли трубами. Не одна и не две — все подряд, километр за километром, по обе стороны. Чёрные печные столбы в бурьяне, по три-четыре десятка на село, и между ними натоптанные заново тропинки.

Потому что люди вернулись.

Они жили в погребах и в землянках, вырытых на месте огородов. Из ям торчали жестяные трубы, из труб шёл дым. На третьи сутки я насчитал за один час одиннадцать таких дымков, а затем бросил это занятие.

У обочин стояли бабы и менялись.

Не продавали — менялись. Варёная картошка на махорку, махорка на соль, соль на что придётся. Когда колонна вставала, они подходили к бортам и глядели снизу вверх, и одна на второй день спросила у меня, не из-под Ливен ли я и не встречал ли Николая Прошина, тридцать девятого года при-

зыва.

Я сказал, что не встречал.

Она кивнула и отошла — так, будто ждала именно этого ответа, так как получала его уже сотый раз.

А через полверсты у обочины стоял покосившийся столб с прибитой поперёк доской, и на ней углём, крупно, было выведено: «Мама я жив ищи Веру у тёти Поли». Ни фамилии, ни числа.

Таких досок я потом за три года посмотрелся на всех дорогах от Орла до Германии.

— Слышь, сапёр, — обернулся ко мне шофёр на очередной остановке. Он был пожилой, с рыжими прокуренными усами, и всю дорогу разговаривал сам с собой. — А ты чего один едешь? Тебя чего, наказали?

— Перевели меня, — честно ответил я.

— Это куда ж тебя?

— В бригаду. Штурмовую инженерно-сапёрную.

Шофёр помолчал, разглядывая меня через плечо.

— Это которые в железе ходят? — уточнил он.

— Говорят, в железе, — кивнул я.

— Ага, — он сплюнул в глину и полез в кабину. — Ну, езжай. Я их видал под Кромами, в июле. Они там дот брали, я мимо проезжал.

— И как оно вышло?

— Да никак, — отмахнулся шофёр. — Взяли и взяли, — он захлопнул дверцу и высунулся в окно. — Только их туда

двадцать два человека пошло, а обратно я насчитал одиннадцать. Я, конечно, мог обсчитаться, я на ходу это делал, — добавил он, но я почему-то был уверен, что именно так все и было.

Бригада стояла в лесу под Карачевом, и первое, что я увидел, был турник.

Не палатки, не машины, не часовой. Турник.

Он был вкопан прямо у въезда, на утопанной до каменной твёрдости площадке, из двух ошкуренных сосновых столбов и куска водопроводной трубы, отполированной ладонями до зеркального блеска.

Под перекладиной в глине была вытоптана канавка — от тех, кто прыгивал. Не ямка, а именно канавка, в два сапога шириной. Значит, прыгали сюда сотнями и не первую неделю.

На нём висел человек и подтягивался.

Медленно, ровно, без рывка, с полной паузой внизу. Пока полуторка разворачивалась и я слезал через борт, он сделал восемнадцать раз, прыгнул, встряхнул кистями и пошёл прочь, ни на кого не глядя.

— Тебе куда? — окликнул боец у шлагбаума.

— В штаб, по предписанию, — отозвался я.

Он оглядел мою скатку, вещмешок, медаль на гимнастёрке и, кажется, остался чем-то недоволен.

— Иди прямо, потом налево, землянка с трубой, — объ-

яснил он. — Только ты не спеши радоваться.

— А чего мне радоваться? — не понял я.

— Дык медали, — буркнул он и отвернулся.

Штаб был в землянке.

Писарь взял предписание, прочитал его дважды, отложил и не глядя потянулся за журналом.

— Ковалёв. Первый батальон, третья рота. Комиссия завтра в восемь.

— Какая ещё комиссия? — не понял я.

Он поднял голову, и на лице у него появилось выражение, которое я потом видел в этой бригаде раз двести: смесь сочувствия и любопытства.

— Обыкновенная, — пояснил он. — Врачебная.

— Я по предписанию, — напомнил я. — По именному.

— Все по предписанию, — не поднял головы писарь. — Комиссия завтра в восемь, палатка у медпункта. Голым по пояс, портянки перемотай свежие. Вчера одного за портянки завернули и обратно отправили, я сам бумагу выписывал.

Ночевал я в палатке на двадцать человек.

Спали на нарах в два яруса, было тесно и душно, пахло сапогами, махоркой и ружейным маслом. Всю ночь кто-то в дальнем углу кашлял, глубоко и надсадно, и всю ночь никто ему не сказал ни слова, из чего я понял, что он кашляет тут не первую неделю.

Я лежал на верхних нарах, у самого брезента, и слушал.

Разговоры были не такие, как в двести тридцать пятом.

В батальоне говорили про еду, про дом, про то, кого куда перевели и кто чего слышал про наступление. Тут говорили про полосу.

— ...я тебе говорю, через ров он с полной не сиганёт.

— Сиганёт, куда денется, — не уступал первый.

— С нагрудником-то? — усомнился второй.

— С нагрудником, положим, не сиганёт, — согласился первый голос. — Только он его и не наденет. Он его снимает и в зубах несёт, я сам видал в среду.

— Так это ж не считается! — возмутились в темноте.

— А ты Луконину скажи, что не считается. Ты подойди и скажи.

Кто-то в темноте хмыкнул.

Я лежал у брезента и думал про то, что мне девятнадцать лет.

Точнее, что телу моему девятнадцать лет.

Тело это досталось мне четырнадцатого июня, и с тех пор я его кормил чем придётся, спал в нём по четыре часа и таскал на нём ящики. Оно окрепло: на руках появилось что-то похожее на мышцы, ладони задубели, я перестал задыхаться на подъёме и мог теперь пройти двадцать километров и не сдохнуть.

Но роста в нём было метр шестьдесят восемь, и весило оно, я думаю, килограммов пятьдесят пять.

А человек на турнике, которого я видел днём, весил ки-

лограммов восемьдесят, и все восемьдесят были из мяса.

Комиссия была короткая.

Врач — усталый капитан медслужбы с седой щетиной и красными веками — послушал, простучал, велел присесть двадцать раз, посмотрел зубы, посмотрел глаза, помял живот.

Потом взял мою карточку и стал в неё что-то писать.

Писал долго.

— Товарищ капитан, у меня что-то не так?

Он положил карандаш и откинулся на табурете.

— Вес у тебя, — уронил он. — Пятьдесят четыре килограмма, — перечислил врач. — Рост сто шестьдесят восемь. Возраст девятнадцать.

— И что с того, товарищ капитан?

— Ковалёв, вы вообще понимаете, куда вы приехали?

— В штурмовую бригаду, товарищ капитан.

— В штурмовую бригаду, — согласился врач. — А знаете, сколько весит выкладка штурмовика?

Я не знал и сказал об этом.

Капитан загнул палец.

— Нагрудник — три шестьсот. Автомат с боекомплектом — шесть. Гранаты — четыре, а бывает и шесть. Заряд — от восьми до двенадцати, смотря какой. Плюс лопата, ножницы, кошка, шнур, фляжка и всё то, что человек по дурости берёт с собой сверх положенного.

Он разогнул пальцы.

— Двадцать пять — тридцать килограммов. Постоянно, а не на переходе. И с этим надо бежать четырёхста метров, прыгать через ров и лезть в окно на высоте двух метров.

— Понял вас, товарищ капитан.

— Ничего вы не поняли, — он отодвинул карточку. — У вас это половина собственного веса. У Луконина, для сравнения, треть. Разница не в том, что ему легче. Разница в том, что вы через восемь минут упадёте, а он через сорок.

Я стоял.

Он поглядел на меня и вздохнул.

— Ограниченно годен, — подытожил он. — Я вам так и напишу. А дальше решать не мне, и, честно скажу, я вам не завидую.

Из палатки медпункта я вышел с карточкой, на которой стояло «ограниченно годен», и с полным пониманием, что это конец.

Я стоял перед палаткой минут пять.

Есть такое состояние, которое я в первой жизни знал по служебным разбирательствам, а тут узнал заново: когда решение уже принято не тобой, и сделать ничего нельзя, и от этого наступает странная лёгкость.

Я сел на ящик у медпункта и стал думать, что буду делать, когда меня отправят обратно.

И понял, что мне некуда возвращаться.

Двести тридцать пятый уходил на переформирование. Панкратов оставался при штабе. Прохоров уехал к Северцеву. Гурьев принял мой взвод. Прокудин, ливенские, Тагир — все они были при деле, и место моё там было занято.

А тут меня не хотели.

— Не сиди на железе.

Я поднял голову.

Надо мной стоял тот самый капитан медслужбы. Он вышел покурить и держал папиросу в кулаке, по фронтовой привычке, хотя стояло утро и прятать огонёк было не от кого.

— Простыну, что ли?

— Не простынешь, — он затаился. — А привычка дурная. Ты потом на морозе так сядешь.

Он поглядел на карточку у меня в руках.

— Ты, старший сержант, вот чего не думай, — успокоил он. — «Ограниченно годен» — это не приговор, это моя подпись под моими цифрами. Я тебе взвесил и померил, а решать будет Гурьянов, и он на мои бумаги плюёт с высокой колокольни.

— И часто плюёт?

— Через раз, — усмехнулся врач. — Он у меня в июле одного взял, у которого одна почка. Я на него рапорт написал, а он мне ответил, что человек с одной почкой прошёл полосу за семь двадцать, а я за сколько?

Он усмехнулся и бросил папиросу.

— Так что ты не хорони себя раньше времени. Ты полосу

пройди.

— Я её не пройду, товарищ капитан.

— Знаю, — не стал спорить капитан. — Ни один новый её с первого раза не проходит. Тут вопрос не в том, пройдёшь ты или нет. Тут вопрос в том, как ты будешь не проходить, — добавил он, и смерив меня слегка насмешливым взглядом, вернулся в палатку.

Решал майор Гурьянов.

Он вызвал меня в тот же день, после обеда, и я нашёл его не в землянке, а на пне у входа, где он сидел и чистил ППШ.

Комбат был высокий, сухой, лет тридцати пяти, с бритой головой и длинным белым шрамом через всю левую кисть. Я потом узнал, что это не осколок, а собственная лопата.

— Ковалёв? Садись, чего стоять.

Я сел на второй пень.

Он не поднял головы. Прогнал ершом ствол, посмотрел на свет, отложил.

— Двести тридцать пятый отдельный сапёрный. Тринадцатая армия. Курская дуга, Орёл.

— Так точно, товарищ майор.

— Медаль за что?

— За разминирование объекта в июне, — доложил я.

Гурьянов протёр затвор ветошью и осмотрел его с обеих сторон.

— Что за объект?

— Дорога через хутор. Под полотном был заложен погреб.

— И сколько там было?

Я назвал.

Комбат перестал протирать затвор.

Поднял голову — впервые за разговор — и посмотрел на меня. Глаза у него были светло-серые и очень неподвижные.

— Это ты нашёл?

— Нашёл я, — уточнил я. — Снимал капитан Северцев из инженерного отдела армии.

— А ты что делал?

— Держал фонарь и подавал.

Гурьянов положил затвор на колено.

— Врач написал «ограниченно годен».

— Так точно.

— Ты знаешь, что я с такими бумагами делаю?

— Не знаю.

— Отправляю обратно, — он щёлкнул затвором. — У меня укомплектованность батальона шестьдесят один процент. Мне некогда возиться с ограниченно годными, у меня их и так двое, и оба на кухне.

Он поднял автомат и приложил к плечу, проверяя.

— А тебя не отправлю.

— А меня почему оставляете?

— Потому что тебя мне прислали не по разнарядке. Тебя мне прислали именной бумагой из инженерного управления фронта, и в бумаге стоит подпись, которую я до сегодняшне-

го дня видел один раз в жизни.

Он опустил автомат и повернулся ко мне всем корпусом.

— Так что ты за птица, старший сержант?

Я подумал, что ответить.

— Я сапёр, товарищ майор, — отозвался я.

Гурьянов усмехнулся — одним углом рта, коротко.

— Тут все сапёры, — отрезал он. — Тут, Ковалёв, тысяча четыреста сапёров, и у каждого второго награда. Ты мне другое скажи: ты через ров с полной выкладкой прыгнешь?

— Не знаю, товарищ майор. Врать не стану.

Он помолчал.

— А вот это, — произнес он. — Вот это мне в тебе понравилось. Что ты не сказал «прыгну».

Он поднялся, закинул автомат на плечо и отряхнул колени.

— Полоса завтра в шесть, — распорядился он. — Пойдёшь со всеми. Не пройдёшь — пойдёшь послезавтра. Не пройдёшь через неделю — отправлю обратно, и никакая именная бумага тебе не поможет, я на неё отпишусь в двух строчках.

— Есть пройти полосу, товарищ майор.

— И вот ещё что.

Он остановился и оглянулся.

— У меня во втором взводе третьей роты нет командира. Убило двадцать восьмого, на занятиях, при подрыве.

— На занятиях?

— На занятиях, — подтвердил Гурьянов ровно. — У меня за месяц формирования девять человек. Это, если тебе интересно, ниже среднего по бригадам.

Он пошёл к землянке.

— Взвод примешь после полосы. Если пройдёшь, — произнес он, и еще раз посмотрел на меня, а затем хмыкнул и покачал головой.

Нагрудник мне выдали вечером.

Старшина роты — огромный дядька с рябым лицом и с ключами на поясе, вытащил из ящика две железные пластины, соединённые ремнями, и бросил на стол.

Пластины грохнули.

— Мерь на себя.

Я взял.

Он был тяжелее, чем я думал.

Не по весу — по ощущению. Три с половиной килограмма — ерунда, я ящики по двадцать таскал. Но эти три с половиной висели спереди, на плечах и на груди, и центр тяжести уходил вперёд и вверх, и от этого сразу менялось всё: как стоишь, как поворачиваешься, куда девать руки.

Верхняя пластина закрывала грудь и живот. Нижняя, на шарнирах, — низ живота.

— Затягивай ремни, — распорядился старшина. — Туже. Ещё туже, не жалей. Он должен на тебе сидеть, а не болтаться, а то он тебе на бегу все рёбра пересчитает.

Я затынул.

— Теперь присядь.

Я присел. Нижняя пластина упёрлась в бёдра и не пустила.

— Так и должно, — он обошёл меня кругом, подёргал за верхний ремень. — Теперь ложись.

Я лёг на дощатый пол.

И понял, во что вляпался.

На животе в нём лежать нельзя.

То есть можно — но грудь оказывается поднятой над полом сантиметров на восемь, и ты лежишь не плашмя, а на железном коробе, как перевёрнутая черепаха. Прижаться к земле не получается. Локти разъезжаются.

А ползти я не смог вообще.

Попробовал раз, второй, третий. Пластина скребла по доскам и зарывалась передним краем.

— Товарищ старшина, а как в нём ползать?

— Чего-о?

— В нём же не поползёшь.

— А ты не ползай, — отрезал он и забрал у меня ремни.

— Я сапёр. Мне ползать положено.

Старшина сложил нагрудник в ящик и захлопнул крышку. Ключи на поясе звякнули.

— Ползают сапёры, — согласился он. — А тут, сынок, штурмовая. Тут не ползают, тут бегают. Ползать будешь, когда обратно переведут.

Он поглядел на меня и, кажется, пожалел о сказанном.

— Ты не сердчай, — уступил он. — Я тут третий месяц, я уже привык. Ты, главное, полосу пройди, а там разберёшься.

Ужинали мы в тот вечер в темноте, потому что кухня опоздала.

Я сидел на бревне у палатки, ел пшёнку из котелка и разглядывал бригаду.

Разглядывать было что.

Первое, что бросалось в глаза, — здесь никто не сидел просто так.

В двести тридцать пятом человек, у которого выдалось свободных полчаса, ложился. Это был закон, и это было правильно: ложись, покуда дают, потому что через полчаса погонят.

А тут не ложились.

Двое у соседней палатки перебрасывались учебной гранатой — деревянной болванкой с ручкой, — перебрасывались молча и очень быстро, стоя шагах в пяти друг от друга. Один ронял — и оба начинали заново, не говоря ни слова.

Трое у костра вязали узлы. На верёвке, на ощупь, с закрытыми глазами. Тот, у кого выходило медленнее, отдавал второму папиросу.

А у турника, который я видел днём, в полной темноте кто-то подтягивался, и слышно было только, как поскрипывает труба.

Я доел, вытер котелок хлебной коркой и подсел к тем, кто

вязал узлы.

Они подвинулись, не спросив, кто я.

— Слышь, — окликнул тот, что постарше. — А ты откуда прибыл-то?

— Из-под Орла. Двести тридцать пятый отдельный сапёрный.

— Дивизионный, что ль?

— Армейского подчинения.

Он покивал, накидывая петлю.

— Понятная история. У нас тут таких половина, все из дивизионных да армейских, — он затянул узел и подёргал. — Ты вот чего, друг, послушай доброго совета, покамест тебя никто не слышит.

— Слушаю тебя внимательно.

— Ты про свою прежнюю службу тут не рассказывай.

— А почему не рассказывать?

— А потому, что тут все были где-то, — он распустил узел и начал сызнава. — Тут, знаешь, у каждого второго Сталинград, у каждого третьего Ржев, а у Луконина, говорят, вообще финская, хотя по годам не сходится. Начнёшь рассказывать — тебя слушать не станут, а начнёшь молчать — сами спросят.

— А если не спросят?

— Значит, и рассказывать не о чем, — заключил он и передал верёвку соседу.

Я потом много раз вспоминал этот разговор.

Потому что за первые три недели в бригаде меня не спросил никто.

Полоса была на восьмистах метрах.

Я потом узнал, что её строил сам Гурьянов и что она копировала не полосу вообще, а конкретный немецкий опорный пункт, взятый бригадой в июле под Спас-Деменском. С теми же размерами, с той же высотой стенки, с той же шириной рва.

Ров. Проволока в три кола. Стенка два двадцать. Окно в кирпичной кладке на высоте плеча. Труба. Насыпь. Траншея. И в конце — дзот с амбразурой.

Шли по четверо, с интервалом.

Мою четвёрку вёл сержант Луконин.

Тот самый, с турника.

Ему было года двадцать три, и он был на голову выше меня, широкий в плечах и очень красивый — из тех, кого на фотографиях ставят в центр. Из разведки. Два ордена.

Он оглядел меня перед стартом сверху вниз, не торопясь, как оглядывают лошадь.

— Ковалёв, что ли? — оглядел он меня. — Ты, говорят, минёр.

— Сапёр, а не минёр.

— Один хрен, — он поправил нагрудник и подёргал за нижний край. — Слушай сюда, — предупредил он. — Чтób потом обид не было. Идёшь последним. За мной не гонись,

я тебя ждать не стану. Упал — вставай сам, руки не подам.
— А если не встану?
Луконин посмотрел на меня и, кажется, слегка удивился.
— Тогда тебя подберут, — уронил он. — После нас всегда кто-нибудь идёт и подбирает.

Он натянул на голову каску, постучал по ней костяшкой и подёргал ремешок под подбородком — коротко, двумя пальцами, как проверяют подпругу.

— Слышь, минёр. Ты, главное, на рву не гордись.

— Это как?

— А так. Все новые на рву гордятся, — Луконин поглядел вперёд, туда, где под низким утренним небом чернела полоса. — Он три с половиной метра. Ты его с первого раза не возмёшь, никто не берёт. И вот тут человек начинает разбегаться в третий раз, в четвёртый, в пятый, покамест не сдохнет.

— А надо как?

— А надо спуститься и вылезти, — произнес он. — Это двадцать секунд потери. А пятая попытка — это три минуты и отбитые рёбра.

Он повернулся к остальным.

— По местам. Ждём свисток.

Глава 2

Свисток.

Первые сто восемьдесят метров я шёл наравне со всеми.

Не потому, что был силён, — потому что на первых ста восьмидесяти метрах полосы нет ничего, кроме утоптанной земли и трёх воронок, которые оббегаются справа. Тут решает не сила, а дыхание, а дыхание за лето я себе поставил: два месяца по ночам на четвереньках учат дышать лучше всякого спорта.

Луконин ушёл вперёд метров на пятнадцать и больше не оглядывался.

Второй, здоровенный парень с обгорелой шеей, держался за ним. Третий шёл в трёх шагах передо мной и на бегу поправлял нагрудник, который у него съезжал.

А вот за всем этим был ров.

Он открылся сразу, из-за бугра, — три с половиной метра поверху, полтора глубиной, с водой на дне и с отвесной глиняной стенкой на той стороне.

Луконин перелетел его так, будто рва не было.

Он не прыгал — он его перешагнул, вытянувшись в воздухе всем корпусом, и на той стороне сразу пошёл дальше, не потеряв ни шага.

Второй перелетел тоже, с запасом.

Третий зацепился грудью за край, повис на локтях, дёр-

нулся раз, дёрнулся два и вылез, обдирая нагрудником глину.

Я разбежался.

И не долетел метра.

Ударился нагрудником о край, отбил всё, что можно отбить, и съехал вниз по глине, в воду.

Вода была по колено, глинистая и холодная. Я встал, попробовал вылезти по стенке — стенка была отвесная, глина мокрая, а на мне висело тридцать килограммов.

Я лез четыре минуты.

Сверху на меня смотрели.

Не смеялись — вот что. Ни один человек не засмеялся. Стояли десятка полтора из следующих четвёрок и глядели молча, и это было хуже любого хохота.

Вылез я сам, с третьей попытки, вбив в глину нож и подтянувшись на нём.

И вот тут я вспомнил Луконина.

«Все новые на рву гордятся. Ты не гордись, ты спустишься и вылезешь».

Он мне это сказал за минуту до старта, и я его не послушал. Я разбежался и прыгнул, потому что прыгнуть — это восемь секунд, а спуститься и вылезти — двадцать.

Я потратил четыре минуты.

Дальше пошло веселее.

Проволоку в три кола я прошёл первым из всей четвёрки, потому что там надо было работать ножницами, а ножницами я работал лучше их всех вместе взятых. Пока Луконин

где-то впереди возился с трубой, я успел сократить разрыв метров на двадцать.

А стенку два двадцать не взял.

Совсем. Ни с разбегу, ни с подсадкой — потому что подсаживать было некому, четвёрка ушла.

Я стоял под этой стенкой, мокрый, в глине, с разбитым носом, и понимал, что мне на неё не залезть ни сегодня, ни завтра, ни через неделю.

Стенка была сложена из брёвен, ошкуренных и притёртых, и наверху её обили доской, чтоб не цеплялась.

Обили нарочно.

Я это понял, когда пощупал: доска была гладкая, свежеструганая, без единого сучка. Гурьянов не хотел, чтоб люди цеплялись за неровности. Он хотел, чтоб брали в паре, потому что в паре берут и настоящую.

Внизу, у самого основания, глина была выбита до твёрдого — сотнями подошв, которые тут отталкивались.

А на высоте моего плеча в бревне торчал обломок ножа.

Кто-то до меня втыкал его в дерево, чтоб подтянуться, и лезвие сломалось у самой рукояти, и обломок так и остался в бревне — тёмный, обточенный дождями.

Обошёл по краю, как разрешалось новым, и потерял ещё полторы минуты.

Финиш я пересёк на двадцать первой минуте.

Норматив был восемь.

Гурьянов стоял у финиша с секундомером. Он ничего не

сказал — записал что-то в блокнот и повернулся к следующей четвёрке.

После полосы я минут двадцать не мог отдышаться.

Сидел на земле у финиша, привалившись к столбу, и глядел, как проходят следующие четвёрки.

Проходили они красиво.

Я в первой жизни насмотрелся на всякую подготовку, в том числе на очень хорошую, и скажу так: этих людей учили с умом и учили недавно. У них не было ни одного лишнего движения там, где движение отработано.

Ров они брали тремя разными способами — во всяком случае я так насчитал и каким пользоваться выбирали по тому, как шёл разбег.

Стенку брали в паре, и пара работала как одно тело.

В трубу — она была метров восьми, из бетонных колец, и в неё надо было лезть с автоматом — первый входил головой, второй ногами вперёд, и я минут пять соображал зачем, покамест не понял: второй так может стрелять назад, если что.

Такому не научишь за месяц. Это делали люди, которые уже воевали.

И вот тут я в первый раз всерьёз задумался о том, что Луконин, пожалуй, прав.

Не в том, что мне тут не место. А в том, что я тут пока никто.

В двести тридцать пятом я был человеком, который знает то, чего не знает никто. Тут я был человеком, который не

может залезть на стенку.

Вечером я сидел на бревне за палаткой и разматывал портянки.

Ноги были стёрты. Рёбра справа отзывались на каждый вдох. Нос я умыл, но кровь всё равно шла тонкой струйкой, и я закладывал ноздрю бумагой.

Подошёл Луконин.

Сел рядом, достал кiset, свернул самокрутку и протянул мне. Я мотнул головой.

— Не куришь?

— Не приучился, — отказался я.

— Правильно. Дыхалку садит, — он прикурил и с полминуты молчал. — Двадцать одна минута.

— Двадцать было, я слышал.

— Двадцать одна, — поправил он. — Я по часам смотрел. Ты, когда финиш проходил, я стоял с хронометристом.

Он затянулся и стряхнул пепел себе под ноги.

— Слышь, Ковалёв. Я тебе скажу как есть, а ты не обижайся.

— Говори, чего уж.

— Тебе тут не место.

Я домотал портянку и стал натягивать сапог.

— Я не в обиду, — продолжал Луконин. — Я по делу. Ты, я слышал, орденосеиц и в сводках был. Значит, не трус и не дурак. Значит, поймёшь.

Он показал самокруткой в сторону полосы, где в темноте

угадывалась стенка.

— Мы туда пойдём в октябре. Не на полосу — по-настоящему. И там будет то же самое, только с той стороны станут стрелять. И у тебя будет полторы минуты от рва до амбразуры.

— Сколько-сколько?

— Полторы минуты. Девяносто секунд, — он поглядел на меня. — А ты нынче один ров четыре минуты вылезал.

Я молчал, потому что возразить было нечего.

— Езжай обратно, — посоветовал Луконин. — У тебя именная бумага, тебя отпустят и слова не скажут. Ты, я так думаю, в своём деле хорош, а тут ты помрёшь на второй минуте и людей с собой заберёшь.

Он бросил окурок и растёр каблуком.

— Я не со зла говорю, — уточнил он. — Я в июле у себя двоих таких похоронил.

Взвод мне дали на следующее утро.

Гурьянов построил третью роту, вывел меня перед строем и произнёс ровно шесть слов:

— Второй взвод, — объявил он. — Командир — старший сержант Ковалёв.

И всё.

Я стоял перед двадцатью шестью людьми, которые накануне видели, как я четыре минуты вылезал из рва.

Никто ничего не сказал. Никто не переглянулся, не хмык-

нул, не отвёл глаза. Они смотрели прямо перед собой, как положено в строю.

Но я в первой жизни командовал людьми одиннадцать лет и знаю, как выглядит строй, который тебя не принял.

Он выглядит именно так. Идеально.

— Вопросы к командиру взвода есть? — спросил Гурьянов.

— Никак нет, — отчеканил строй.

— Ковалёв, принимай, — распорядился он.

Он отошёл.

Я стоял и молчал секунд пять.

Первый порыв был — сказать что-нибудь. Про три месяца на дуге, про хутор, про станцию, про то, что я не с неба свалился и не по благу сюда попал.

Я в первой жизни таких речей наслушался досыта. Их произносят люди, которым нечего предъявить, кроме прошлого.

— Взвод, — обронил я. — Сегодня занятия по расписанию. Веду не я.

Строй чуть шевельнулся. Едва заметно, но шевельнулся.

— Веду не я, — повторил я. — Кто у вас вчера прошёл полосу лучше всех?

Молчание.

Потом кто-то из второй шеренги отозвался:

— Сержант Луконин. Только он не наш, он из первого взвода.

— А из наших?

— Ефрейтор Ткаченко.

— Ткаченко, два шага вперёд.

Вышел парень лет двадцати, коренастый, с обгорелой левой щекой и белой полоской шрама через бровь.

— Сегодня занятия ведёшь ты, — распорядился я. — Я иду в строю, как все.

Ткаченко посмотрел на меня и не поверил.

— Товарищ старший сержант, я ж ефрейтор, — растерялся он.

— Сегодня ты за меня. Выполняй.

Он потоптался, оглянулся на строй, будто ища поддержки.

— А вы?

— А я буду смотреть, — обронил я. — Двое суток.

По строю прошло движение — на этот раз настоящее, с шепотком.

— Товарищ старший сержант, — подал голос кто-то из третьей шеренги. — А чего смотреть-то? На нас глядеть неинтересно, мы одно и то же делаем.

Я нашёл глазами, кто сказал.

Молодой, курносый, с белыми выгоревшими бровями.

И у меня на секунду перехватило горло — не от лица, лицо было чужое. От того, как он спросил.

— Фамилия твоя как?

— Рядовой Ерохин.

— Вот это, Ерохин, я и хочу поглядеть, — объяснил я. —

Как вы одно и то же делаете.

— А потом?

— А потом скажу.

Двое суток я ходил в строю.

Бегал последним, отставал на полосе, не залезал на стенку, дважды свалился в ров и оба раза вылезал сам.

И смотрел.

Смотреть в этой бригаде было на что.

Они были быстрые. По-настоящему быстрые, не так, как в двести тридцать пятом. Каждый из них по отдельности делал всё вдвое лучше, чем сделал бы я.

Ткаченко за первый день провёл занятия так, что мне поправлять было нечего. Он знал полосу наизусть, он объяснял коротко и по делу, и его слушались.

И при этом взвод терял время.

Я это увидел не сразу. Первые полдня я просто уставал и ничего не соображал, а к вечеру начал считать.

Считать я умею — за лето научился.

К концу вторых суток у меня в тетради было девять записей.

Вот три из них.

«На стенку 2,20 идут по двое: первый подсаживает, второй лезет. Потом первый прыгает и цепляется за руку второго.

На это уходит 14–19 секунд. Из них 6–8 — на то, что второй наверху разворачивается и ищет глазами, кому подать

руку.

Он ищет каждый раз заново, потому что не знает, кто пойдёт следующим».

«Заряд к амбразуре несёт третий номер. Заряд у него в мешке за спиной, мешок завязан узлом. У амбразуры он снимает мешок, развязывает, достаёт.

11 секунд. Из них 7 — на узел».

«Никто не считает вслух. Каждый считает про себя. Поэтому четвёрка расходится по времени уже на втором препятствии и дальше идёт вразнобой».

Я сидел с этой тетрадью на бревне за палаткой, и у меня понемногу складывалось то, о чём я тогда ещё не мог сказать словами.

Они всё делали быстро.

И при этом на восьмистах метрах теряли, по моему счёту, около сорока секунд на пустом месте.

Сорок секунд из четырёхсот восьмидесяти.

Гурьянов вызвал меня на третье утро.

Он снова сидел на пне у своей землянки, но на этот раз ничего не чистил. Перед ним лежал раскрытый блокнот.

— Ковалёв, ты двое суток ходишь в строю и не командуешь.

— Так точно.

— Взводом командует ефрейтор.

— Так точно.

Гурьянов постучал карандашом по блокноту.

— Мне вчера Луконин доложил, — продолжал он. — Не по злобе, он мужик прямой, он мне в лицо говорит то же, что за спиной. Доложил, что новый командир второго взвода занятиями не руководит, а ходит с тетрадкой и записывает.

— Записываю.

— Что?

Я протянул ему тетрадь.

Он взял. Полистал. Остановился на странице и читал минуты две, шевеля губами и один раз вернувшись назад.

Потом закрыл и положил на колено.

— Сорок секунд.

— Около того. Я считал грубо, на глаз, без хронометра.

— На чём?

— Товарищ майор, там всё написано.

— Я читаю, — обронил Гурьянов. — Ты мне скажи словами. Я хочу услышать, как ты это выразишь.

Я подумал.

— На неопределённости, товарищ майор, — доложил я.

— Поясни мне это словами.

— Каждый раз, когда человек на полосе должен решить, что делать дальше, он тратит от двух до восьми секунд. Он всё умеет, у него всё отработано, руки сами. Но он каждый раз решает заново: кому подать руку, каким узлом развязать, кто идёт первым в трубу.

Гурьянов молчал.

— Эти секунды не видны, — продолжал я. — По отдель-

ности их нет. Две секунды — это не потеря, но они складываются.

Комбат постучал карандашом по колену.

— И что ты предлагаешь?

— Пока ничего, — признал я. — Мне нужно ещё двое суток.

— Двое суток у тебя нет, — отрезал он.

Он поднялся и застегнул планшет.

— Бригада получила боевое распоряжение. Сегодня ночью, я в четыре был у комбрига.

Он поглядел на часы.

— Двадцать шестого сентября бригада должна быть в районе сосредоточения на Днепре. Это двадцать один день.

Он подобрал с земли секундомер и подбросил его на ладони.

— За двадцать один день я должен привести твой взвод к нормативу.

— К какому?

Гурьянов нажал кнопку.

Секундомер щёлкнул.

— Девяносто секунд. От рва до амбразуры, на всё про всё.

Он вернул мне тетрадь.

— Ковалёв, ты вот чего пойми, покамест мы одни. Я твою тетрадку прочитал и понял, что ты человек не глупый. Только это тут третье дело.

— А первое?

— А первое — успеть.

Он сел обратно на пень.

— Двадцать шестого мы будем на Днепре. Днепр — это не речка, это полкилометра воды. Правый берег стоит стеной сорок метров, и на нём сидит немец, который там с весны копает.

Он поглядел на меня снизу вверх.

— И меня туда пошлют не потому, что я хороший, а потому, что я штурмовая бригада и меня для этого держат. И у меня будет ровно столько людей, сколько я перевезу на тот берег живыми.

Он помолчал.

— Так что ты со своими сорока секундами приходи ко мне не с бумагой, а с людьми, которые их не теряют. И приходи не в октябре, а через две недели.

Взвод я построил в тот же день после разговора с Гурьевым.

— Ткаченко, сними мешок.

Он снял.

— Теперь развяжи.

Он развязывал, пока я все это время смотрел на часы.

— Семь и две.

— Чего это семь и две?

— Семь секунд две десятых ты развязывал мешок.

Ткаченко поглядел на завязку, потом на меня.

— Ну так узел же, — не понял он.

— Какой узел?

— Обыкновенный, — пожал плечами Ткаченко. — Как все вяжут.

— А почему все так вяжут?

Он открыл рот и не нашёл, что ответить.

Взвод стоял вокруг и слушал, и я видел по лицам, что вопрос кажется им дурацким и что они это терпят из вежливости.

— Дык мешок, — выговорил наконец Ткаченко. — Он так завязывается.

— Он так завязывается, когда в нём портянки, — я взял у него мешок. — Чтоб не вывалились по дороге. А у тебя в нём заряд, и тебе с ним лежать под амбразурой.

Я развязал, вытряхнул, уложил обратно.

И завязал по-другому: одной петлёй, с выпущенным свободным концом, обмотанным вокруг лямки.

— Теперь дёрни.

Ткаченко дёрнул.

Мешок раскрылся сразу.

— Полторы секунды, — объявил я и показал циферблат. — Одна и пять.

Сзади кто-то отчётливо хмыкнул.

— Пять секунд с человека, — подытожил я. — В четвёрке — двадцать. В штурмовой группе из двенадцати — минута. Я вернул мешок Ткаченко.

— Ерохин, ко мне.

Курносый вышел из строя.

— Вяжи так же. Потом покажешь остальным и проверишь у каждого.

— Есть, — Ерохин взял мешок и стал вязать, высунув от старания кончик языка, и перевязал трижды, покамест не вышло с первого раза.

Я отвернулся.

Взвод принимал меня туго.

Не бунтовал — тут бунтовать было не принято, — а именно туго: делал, что велено, и не делал ни на волос больше.

Я это чувствовал по мелочам.

Когда я приходил, разговор не смолкал — он становился на полтона тише и о другом. Когда я объяснял, кивали. Когда я спрашивал, не поняли ли чего, отвечали, что поняли.

За первую неделю мне не задали ни одного вопроса, кроме тех, что задавал Ерохин.

А Ерохин задавал их потому, что был молодой и ещё не выучился молчать.

Перелом случился на четвёртый день, и случился он не от моих слов.

Мы отрабатывали стенку. Ткаченко подсаживал, второй номер — здоровенный парень по фамилии Черкас — лез наверх, и всё шло как надо, покамест Черкас не сорвался.

Сорвался он глупо: рука соскользнула по мокрой глине, и он ухнул вниз с высоты в человеческий рост, спиной, прямо на нагруднике.

Упал он плашмя.

И не встал.

Взвод замер. Я подбежал первым и увидел, что он дышит, но дышит плохо — коротко, часто, с присвистом.

— Не подымайте, — распорядился я. — Никто его не трогает.

— Дык надо ж... — растерялся кто-то.

— Не трогать. Черкас, ты меня слышишь?

Он моргнул.

— Пальцами на ногах пошевели, — велел я.

Он пошевелил, и я выдохнул.

— Теперь ремни, — распорядился я. Ткаченко, режь ремни на нагруднике. Не расстёгивай, а режь, у него грудь зажата.

Ткаченко достал нож.

Через полминуты нагрудник сняли, и Черкас задышал ровнее, и через пять минут сел, а через десять уже ругался.

Отделался он двумя треснувшими рёбрами и синяком во всю спину.

А вечером ко мне подошёл Ткаченко.

Подошёл сам, без вызова, и стоял, переминаясь.

— Товарищ старший сержант, разрешите спросить.

— Спрашивай.

— Вы откуда знали, что ремни резать?

— У него нагрудник при падении вверх съехал и в горло упёрся. Он не мог грудь расширить.

— Дык это ж... — начал Ткаченко и замолчал и потрогал свой шрам на брови.

— У нас в июле так один задохнулся, — выговорил он наконец. — Под Спас-Деменском. Мы его вытащили, а он уже. И никто не понял отчего, на нём же ни царапины.

Он поглядел на меня.

— Вы это где видели?

— Нигде не видел, — признал я. — Сообразил.

— Ага, вон оно как, — обронил Ткаченко.

И ушёл.

А наутро взвод стал задавать вопросы.

Не все и не сразу — трое или четверо. Но с того дня, когда я спрашивал, поняли ли, мне уже не отвечали «поняли», а переспрашивали.

Второе, что я сделал, заняло два дня и все прошло не так так, как я планировал из-за Луконина.

Он приходил к нам на занятия — не по службе, а сам, вставал в стороне и смотрел. Я знал зачем: посмотреть, как я буду позориться, и потом доложить Гурьянову, что я позорю взвод.

— Не понимаю, — признался он на второй день.

— Чего именно?

— Ну вот стенка. Первый подсаживает, второй лезет. Второй наверху подаёт руку первому. — Он показал ладонью.

— Так?

— Так.

— Ну и всё. Чего тут назначать заранее?

— Кому он подаёт руку?

— Первому и подаёт.

— А если первый отстал?

Луконин подумал.

— Тогда тому, кто подошёл, — уступил он.

— Вот, — обронил я. — А чтобы понять, кто подошёл, ему надо развернуться, посмотреть вниз и найти глазами человека.

— Ну и что? — не уступал он. — Секунда.

— Шесть, — поправил я. — Я мерил четырнадцать раз, у меня записано: от четырёх до восьми, в среднем шесть.

Луконин посмотрел на меня, и что-то у него в лице поменялось.

— Ты с секундомером за нами ходил? — не поверил он.

— Все четырнадцать раз?

— Все четырнадцать, — подтвердил я.

Он покачал головой.

— Ну ты и зануда, — обронил он, и в голосе у него не было ни насмешки, ни злости, а было что-то третье, чему я тогда не подобрал названия.

Я развернулся к взводу.

— Слушать сюда, — объявил я. — С сегодняшнего дня в четвёрке порядок жёсткий. Первый номер подсаживает и идёт третьим. Второй лезет и принимает. Он не смотрит вниз. Он протягивает руку туда, где должен быть третий, и

рука должна встретить руку.

— А если не встретит? — спросил Ерохин.

— Значит, вы плохо отработали, — отрезал я.

— А если он убитый? — не отставал Ерохин.

Взвод затих.

Вопрос был правильный. Хороший, злой, ровно тот самый, который я и сам себе задал накануне ночью и на который у меня не было ответа.

— Тогда второй считает до двух и лезет дальше один, — ответил я. — И четвёрка идёт втроём по тому же порядку. Это тоже надо отработать.

— А если двоих? — не отставал Ерохин.

— Тогда вдвоём.

— А если...

— Ерохин, до одного, — отрезал я. — До одного, который дойдёт и положит заряд. Мы это отработаем всё, по порядку: вчетвером, втроём, вдвоём и одному.

Взвод молчал.

— И начнём с одного, — прибавил я. — Потому что вчетвером вы и так умеете.

Ерохин моргнул.

— Как это — отработать, что кого-то убило? — не понял он.

— Так же, как всё остальное, — отозвался я.

Он постоял, соображая.

— Дык это ж... — выговорил он наконец. — Дык это ж

как будто мы его хороним заранее.

— Ерохин, слушай сюда.

— Слушаю, товарищ старший сержант.

— Мы его не хороним. Мы делаем так, чтоб остальные трое дошли.

Он потоптался и вернулся в строй, и по лицу его было видно, что он не согласился, а только замолчал.

Луконин, стоявший в стороне, дождался, пока взвод разойдётся, и подошёл.

— Ковалёв, погоди.

— Чего тебе?

— Вот про это ты хорошо придумал. Про «убит — считай до двух».

— Не придумал, — поправил я. — Вспомнил.

— Откуда вспомнил-то?

Я не ответил.

Луконин постоял, поковырял носком сапога землю.

— У меня в июле, — произнес он. — Второй номер наверху остался. Один. Он там минуты полторы простоял, руку тянул и звал. А потом полез обратно вниз, за нами.

— И что?

— И там его положило, внизу, — договорил он. — А наверху бы не положило.

Он повернулся и пошёл.

— Ты не думай, что я тебе поверил, — бросил он через плечо. — Я к тебе теперь ходить буду. Каждый день, пока-

мест не разберусь.

— В чём разобраться-то?

Луконин остановился.

— В том, откуда у тебя это, — произнес он. — Ты, минёр, ров вылезаешь четыре минуты. Ты стенку не берёшь. Ты, извини за прямоту, самый слабый человек в моём батальоне.

Он поглядел на меня.

— А порядок, который ты вчера ввёл, я в июле придумать не мог. И никто не мог, а мы это два месяца на своих шкурах пробовали.

Он поправил ремень.

— Вот я и хожу, — добавил он и ушел.

Луконин пришёл на следующий день.

И на следующий тоже, и потом ещё восемь дней подряд, и я к концу первой недели перестал понимать, чего он ходит.

Он не мешал. Стоял в стороне, курил, изредка задавал вопрос — и вопросы у него были неудобные.

— Ковалёв, а вот у тебя второй номер считает вслух, — начал он.

— Считает, верно.

— А если он голос сорвёт? Или если рядом рванёт и его оглушит?

Я остановился.

Об этом я не думал.

— Тогда считает третий, — нашёлся я.

— А он знает, что он третий?

— Будет знать.

— Ага, — Луконин сплюнул. — А если и третьего оглушит?

— Луконин, ты чего добиваешься? — не выдержал я.

Он затанулся и поглядел на полосу, где Ткаченко в третий раз гонял четвёрку через стенку.

— Ничего не добиваюсь, — отмахнулся он. — Я тебе слабое место показываю, а ты обижаешься.

— Я не обижаюсь, — возразил я.

— Обижаешься, — не принял он возражения. — У тебя ноздри белеют, я вижу.

Он бросил окурок.

— Ты, минёр, вот чего пойми. Я на нейтралку четвёртый год хожу. Я у тебя порядка твоего не оспариваю, порядок хороший. Я тебе про другое говорю: всякий порядок в бою ломается на третьей минуте.

— И что тогда делать? — уточнил я.

— А вот это ты у меня и спроси, — усмехнулся Луконин. — Ты ж у нас записываешь.

Я записал.

В тот же вечер, в тетрадь, отдельной строчкой:

«Порядок ломается на третьей минуте. Значит, нужен порядок для сломанного порядка».

К двенадцатому сентября взвод проходил полосу за шесть

сорок.

Норматив был восемь. До меня они ходили за семь двадцать.

Гурьянов пришёл с секундомером, отстоял два захода и ушёл, ничего не сказав.

Вечером вызвал.

— Шесть сорок. Как ты это сделал?

— Убрал лишние решения, товарищ майор, — доложил я.

— Поясни.

Я рассказал. Про узел, про очередь, про то, что теперь в четвёрке считает вслух второй номер и все идут по его счёту, а не каждый по своему.

Гурьянов слушал, не перебивая, и один раз что-то отметил в блокноте.

— Значит, ты убрал у них думалку, — произнес он, когда я кончил.

— Так точно, отобрал.

— И это хорошо?

— На полосе — хорошо, — уточнил я. — Думать надо было раньше. На полосе поздно.

Гурьянов усмехнулся.

— Складно излагаешь.

Я вздрогнул.

Ровно это слово, ровно с этой интонацией мне сказал в июле майор Зотов, за шестьсот километров отсюда и, кажется, в другой жизни.

— Ковалёв, ты чего дёрнулся?

— Ничего, товарищ майор.

Он поглядел на меня, но настаивать не стал.

— Шестнадцатого выходим на Кобылинский узел, — объявил он. — Это настоящий немецкий опорный пункт, брошенный в августе. Три дота, ходы сообщения, проволока, остатки полей.

— С боевыми?

— С боевыми, — не стал смягчать комбат. — Заряды настоящие, огонь сверху настоящий, из станкового, с фланга.

Он захлопнул блокнот.

— Ковалёв, я тебе объясню, почему так, а ты объяснишь своим.

— Слушаю вас.

— Отработать штурм на деревяшках нельзя. У учебного заряда другой вес и другая посадка, и человек, который сто раз ставил деревяшку, на настоящем начинает дрожать.

Он поднялся.

— За месяц формирования я на этом потерял девять человек, — напомнил он. — И я тебе честно скажу: потеряю ещё.

Он поглядел мне в глаза.

— И ты потеряешь. Ты, я вижу, из тех, кто себе этого не простит. Так вот, привыкай сейчас, а не двадцать шестого на воде.

— Товарищ майор, разрешите вопрос.

— Валяй, спрашивай.

— А почему бригаду ставят на Днепр? Мы же штурмовая. Нас же для дотов держат, а не для переправы.

Он молчал около минуты, глядя куда-то мимо меня, на сосны.

— Хороший вопрос, Ковалёв, — обронил он наконец. — Я его сам в штабе задал, в июле. Знаешь, что мне ответили?

— Не знаю.

— Что штурмовая бригада — это единственное соединение, где все умеют плавать.

Он усмехнулся, и усмешка вышла нехорошая.

— Понимаешь механику? У них есть тысяча четыреста человек, отобранных по здоровью, обученных лазать и не боящихся воды. И у них есть река. И вот они складывают одно с другим и получают ответ.

— А доты?

— А доты будут после, — он поднялся. — Ты, главное, до них доживи.

Он пошёл к землянке и у двери обернулся:

— И вот ещё что. Ты своим про это не рассказывай.

— Про что?

— Про то, что нас на переправу берут не потому, что мы штурмовая, а потому, что мы плавать умеем, — сказал мне Гурьянов. — Оно, знаешь, правда, а от такой правды у людей руки опускаются, — добавил он. — Все, свободен.

Глава 3

Кобылинский узел стоял в двенадцати километрах от лагеря, на голом безлесном бугре, и первое, что я про него подумал, — до чего же неудачно он поставлен.

Через час мое мнение в корне поменялось.

Немцы держали тут высоту с февраля. Три дота по гребню, ходы сообщения между ними, два ряда проволоки, минные поля по скатам. В августе они ушли сами, без боя, когда фронт обошёл их севернее, — и ушли аккуратно, забрав всё, что можно унести, и оставив всё, что нельзя.

Бригаде его отдали под занятия.

Это, если вдуматься, было редкое везение. Тренироваться на макете и тренироваться на настоящем — вещи разные. На макете человек знает, что стенка сколочена из брёвен и что за ней ничего нет. А тут за амбразурой была темнота, и в темноте стоял чужой запах.

Мы приехали шестнадцатого, к обеду, на трёх полуторках.

Дорога шла по стерне, и всю дорогу справа тянулось поле, которое так и не убрали.

Рожь стояла осыпавшаяся, побуревшая, полёгшая от дождей, и по ней ходили грачи. Убирать было некому: деревня, к которой поле относилось, стояла в трёх километрах, и от нее осталось четыре двора.

Гладышев всю дорогу глядел на это поле и молчал, а под

конец не выдержал:

— Пропадёт ведь хлеб.

— Уже пропала, — произнес Ткаченко.

— Дык её и сейчас можно, — не уступал Гладышев. — Она осыпалась, а зерно-то в земле лежит. Его собрать — и на муку.

— Кто собирать станет? — усомнился Ткаченко.

— Бабы бы собрали, — Гладышев не отрывался от борта. — У нас в деревне в тридцать шестом град побил, так мы после града неделю по полю ползали и собирали. По зёрнышку.

Он помолчал.

— Тут работы на две недели и на двадцать баб, — заключил он. — А хлеба выйдет дворов на десять до весны.

Никто ему не ответил.

А я подумал, что этот здоровенный молчаливый парень за всю дорогу сказал больше, чем за предыдущую неделю, и что сказал он про хлеб.

Пока разгружались, я обошёл дот номер два, который достался нашей роте.

Обошёл кругом, потом полез в ход сообщения, потом вылез и обошёл ещё раз.

— Ковалёв, ты чего кружишь? — не выдержал Ткаченко.

— Смотрю, как оно тут устроено.

— Дык он же наш уже месяц. Тут все ходили, тут вон и окурки лежат.

— Вижу окурки.

Я и правда их видел — целую россыпь у входа в ход сообщения, наших, из газеты, за месяц накопилось.

И это меня успокаивало ровно наполовину.

Потому что окурки лежали там, где люди курили, а курили они там, где им было удобно сидеть, а сидели они в трёх местах из тридцати.

Гурьянов собрал командиров взводов у входа в дот.

Стояли впятером: комбат, я, командир первого взвода лейтенант Сомов — недавно из училища, командир третьего сержант Мыкола Гнатюк, здоровенный и молчаливый, и Луконин, которого позвали, хотя он был из другого батальона.

— Слушать сюда, — распорядился Гурьянов. — Работаем с боевыми. Заряды настоящие, огонь настоящий, из станкового, с фланга, поверху. Кто не понял — переспросите сейчас, потом будет поздно.

Никто не переспросил.

— Задача на завтра. Комбинированный штурм дота номер два. Две группы: первая от рва, справа, подавляет амбразуру. Вторая слева, по ходу сообщения, работает вход.

Он присел на корточки и стал выкладывать на земле камешки.

— Вот амбразура. Вот вход. Между ними двадцать шесть метров по прямой.

Он положил два камешка и провёл между ними черту.

— Теперь главное, и я это говорю каждой паре групп пе-

ред каждым выходом. Оба заряда рвутся одновременно, на девяносто второй секунде. Между ними двадцать шесть метров.

Он поглядел на нас снизу вверх.

— Понимаете, что это значит?

— Что уходить надо вовремя, — обронил Сомов.

— Нет, — Гурьянов поднялся и отряхнул колени. — Это значит, что уходить надо не «вовремя», а по одному счёту. Твоё «вовремя» и его «вовремя» — разные. А счёт один.

Он показал на бойца с секундомером, стоявшего в стороне.

— Хронометрист, — показал он. — Он не кричит, он поднимает флажок. Красный — сорок пять. Белый — восемьдесят пять. После белого на площадке никого.

— А если кто задержится? — спросил Гнатюк.

— Тогда его накроет соседним зарядом, — не стал смягчать комбат. — У меня так в июле двоих сложило под Спас-Деменском. Одного своим, второго чужим.

Он оглядел нас.

— Луконин, ты первую группу, — распорядился он. — Ковалёв — вторую.

Луконин кивнул.

Я тоже.

— Ковалёв, — прибавил Гурьянов. — Ты у нас человек новый и любишь подумать. Так вот, думай сегодня. На объекте счёт не твой.

Вход в дот был засыпан.

Не завален — присыпан: немцы при отходе обрушили верхний накат над тамбуром, и вход был забит грунтом на полметра, а сверху лежали три обгорелых бревна.

Я осмотрел его вечером, часов в семь, когда солнце уже ушло за бугор и тени легли длинные.

И увидел то, что видел на дуге сто раз.

Свежая земля у левого косяка.

Не осыпь — насыпь. Осыпавшийся грунт лежит конусом и оплывает по краям, а этот лежал плоско, с прижатым верхом, и трава сквозь него не проросла, хотя вокруг проросла везде.

Я присел и потрогал.

Земля была слежавшаяся, но не осевшая. Между этими двумя вещами разница в том, что осевшая земля садится сама, а слежавшуюся кто-то придавил.

— Гурьянов где? — спросил я у первого встречного.

Комбат сидел у машины с планшетом на коленях и правил завтрашний график.

— Товарищ майор, разрешите доложить.

— Докладывай, чего у тебя.

— Вход трогали, товарищ майор, — доложил я.

Он поднял голову.

— Кто трогал?

— Не знаю. Но грунт у левого косяка не оседал, а насыпан и придавлен. И трава сквозь него не проросла.

Гурьянов отложил планшет.

— Ковалёв, дот брошен в августе, — напомнил он. — Через него за месяц полбригады прошло, там окурков как в пепельнице.

— Так точно, — не отступил я. — И всё-таки.

— Что «всё-таки»?

Я подумал, как это сказать, чтоб не прозвучало как каприз.

— Товарищ майор, я три месяца снимал немецкие поля. У них есть привычка: они уходят и оставляют вход так, будто он завален пожаром или обстрелом. И почти всегда что-нибудь кладут.

— Почти всегда?

— В четырёх случаях из пяти. Я считал.

Гурьянов побарабанил пальцами по планшету.

— И что ты хочешь?

— Разрешите перед постановкой заряда прощупать площадку у входа, — попросил я.

— Сколько времени?

— Минуты полторы. Может, две.

Он поглядел на меня.

И вот тут — я это потом прокручивал сотни раз — он мог сказать «нет».

Он мог сказать: сходи и прощупай сейчас, пока светло. Он мог сказать: возьми людей и разбери завал до утра. Он мог сказать: отставить, объект проверен месяц назад.

Он сказал другое.

— Полторы минуты, — произнес он. — Уверен?

— Я успею, — заверил я. — Я себе на подход дал шестьдесят секунд, а хожу за сорок восемь.

Гурьянов помолчал.

— Смотри сам, — уступил он. — Но счёт не твой, Ковалёв.

— Так точно.

Вечером у костров случился разговор, который я потом вспоминал не раз.

Кострами тут не увлекались — жгли по одному на роту, в яме, и над ямой натягивали плащ-палатку, чтоб не было видно сверху. Но шестнадцатого немецкой авиации над нами не было третьи сутки, и старшина роты разрешил.

Сидели человек двадцать.

Разговор шёл про завтрашнее, и он был такой, какой всегда бывает накануне: вроде бы про дело, а на самом деле ни про что.

— ...ты мне про амбразуру не рассказывай. Я в амбразуру в июле заряд клал.

— Дык он же не в амбразуру кладёт, — вставил кто-то. Он под неё кладёт, снизу.

— А это одно и то же, — не уступал первый.

— А вот и не одно! Ты снизу положишь — у тебя свод вниз пойдёт. А в саму амбразуру закинешь — оно наружу

выхлестнет и тебя же и накроет.

Гладышев, здоровый и обычно молчаливый, вдруг подал голос:

— А чего его вообще подрывают? — подал голос Гладышев. — Его можно огнёмётом. Один человек подошёл, пустил струю — и всё.

— В роте огнёмёт есть, а во взводе нету, — обронил Ткаченко. — И покамест до тебя огнёмётчик добежит, тебя три раза положат.

Он поглядел на меня через костёр.

— Товарищ старший сержант, а вот у вас как было? В сапёрных.

Взвод притих.

Я понял, что это первый вопрос про мою прежнюю службу за три недели, и что задают его не из вежливости.

— У нас дотов не было, — отозвался я. — У нас были поля.

— Дык поля-то полегче, — заметил кто-то. — Там же в тебя не стреляют, там тихо.

— Тихо там, верно, — не стал спорить я.

Я подумал, как ответить, чтоб не вышло похвальбы.

— За июнь в моём батальоне выбыл сорок один человек, — выговорил я. — Из них немец взял одиннадцать. Остальных тридцать взяла работа.

У костра стало тихо.

— Тридцать человек? — не поверил кто-то.

— Тридцать. И это не бой. Это ночью, на своём поле, без единого выстрела.

Ерохин, сидевший ближе всех к огню, поднял голову.

— Товарищ старший сержант, а как это — работа взяла?

— Так, что человек торопится.

— И всё?

— И всё, Ерохин, — подтвердил я. — Больше ничего не надо.

Он подумал.

— Дык это ж... — выговорил он. — Дык это ж выходит, что можно вообще без немца помереть, — договорил он.

— Можно и так.

Ткаченко подбросил в яму ветку.

— У нас так же, — обронил он. — У нас за месяц формирования девять человек, и все девять — на занятиях.

— Восемь, — поправили из темноты. — Девятый в госпитале помер, он уже не считается.

— Девять, — не уступил Ткаченко. — Он у нас помер, а не в госпитале. В госпитале он только доехал.

Никто не стал спорить.

Ночевали мы у машин, под открытым небом, потому что сентябрь стоял сухой и тёплый.

Я не спал.

Лежал на плащ-палатке, глядел в очень чистое звёздное небо и в третий раз перебирал завтрашнее.

Ход сообщения — тридцать один метр, я его вчера про-

шёл дважды и вымерил шагами. Дно ровное, обвалов два, оба обходятся справа. На выходе к тамбуру поворот, и за поворотом три метра открытого места.

Заряд несёт Ерохин, третьим номером. Мешок с моим узлом, полторы секунды.

Ткаченко второй, считает вслух.

Гладышев, здоровый молчаливый парень из-под Вологды, замыкает.

Я первый.

И полторы минуты на площадку у входа, из которых полторы уйдут на шуп.

Всё сходилось.

Всё сходилось так хорошо, что я под утро всё-таки заснул и проспал часа два без снов.

Пошли в шесть двенадцать.

Утро было холодное и очень ясное — первое по-настоящему осеннее утро в том году. Трава лежала в инее, и от дыхания шёл пар, и я подумал, что двадцать шестого на Днепре будет уже совсем холодно.

Над головой работал станковый.

Настоящий, длинными, с фланга, метрах в трёх над бруствером. В первый раз человека от этого звука вжимает в землю намертво, и это не трусость, так оно было устроено.

Мои не вжимались. Мы это отрабатывали шесть дней подряд.

Ход сообщения прошли за тридцать одну секунду.

Я слышал, как сзади считает Ткаченко — ровно, вполголоса, не сбиваясь:

— Тридцать... тридцать пять... сорок...

На сорока пяти впереди справа поднялся красный флажок. Я его увидел краем глаза через бруствер.

Значит, Луконин на подходе.

Значит, всё идёт по счёту.

Мы вышли к тамбуру на пятьдесят второй.

Я лёг у левого косяка и достал щуп.

Не сапёрный — обрезок, сантиметров сорок, с деревянной ручкой. Я его сделал себе сам в первую же неделю и таскал в голенище, за что надо мной смеялась вся рота: сапёрам в штурмовой бригаде щуп не положен, у них другая работа.

— Ткаченко, счёт, — велел я.

— Пятьдесят четыре, — откликнулся он.

Я вогнал щуп под углом.

Грунт был мягкий, свежий, шёл легко.

— Пятьдесят восемь.

Сдвиг. Ещё.

— Шестьдесят два.

И на шестьдесят третьей секунде щуп упёрся.

Твёрдо и коротко.

Я замер.

Есть такая секунда. Она у всех разная по длине, но она есть у каждого, кто этим занимается. Ты уже понял, что упёр-

ся, и ещё не понял, во что. И в эту секунду в голове наступает абсолютная стерильная тишина.

— Шестьдесят пять, — обронил Ткаченко.

Я убрал щуп и полез руками.

Пальцами, по щепотке, сверху вниз, вокруг, никогда — на самоё.

— Семьдесят прошло.

Под пальцами хрустнуло. Дерево.

Плоское, с ровным краем.

— Товарищ старший сержант. Семьдесят пять.

— Тихо ты, не сбивай.

Я снимал землю.

Она шла хорошо — сырая, ночная, не пылила и не осыпалась обратно. Пальцы находили край доски и вели по нему, и я успел подумать, что доска необычно тонкая для немецкого ящика.

Слева, из хода сообщения, тянуло холодом и погребом.

Сверху, метрах в трёх, шла очередь — длинная, на весь диск, и по звуку было слышно, как пулемётчик ведёт стволом слева направо и обратно.

Ткаченко считал ровно, не сбиваясь ни на десятую.

И вот тут я хочу сказать про себя одну вещь, которую понял только через двое суток.

Я в тот момент не думал ни про счёт, ни про Луконина, ни про двадцать шесть метров.

Я в тот момент был тем самым человеком, который в июне

лежал в подвале под сгоревшим хутором и который в июле сидел на скате под сурепкой. У меня в голове было одно: под моими пальцами лежит вещь, а рядом трое.

Три месяца меня учили, что это единственно правильная мысль.

Три месяца это была единственно правильная мысль.

— Восемьдесят ровно.

Я расчистил угол.

Ящик.

Деревянный, немецкий, присыпанный на две ладони, с уцелевшей верёвочной ручкой сбоку.

Пустой.

Я это понял костяшкой — стукнул, и он отозвался гулко, — и по тому, как легко он подался, когда я нажал.

Обыкновенный порожний ящик из-под чего-то, брошенный при отходе и присыпанный обвалившимся накатом.

Кто-то из наших, из тех, кто ходил тут за месяц, спихнул его к косяку, чтоб не мешал, и притоптал сверху сапогом.

Вот и вся насыпь.

Вот и весь придавленный грунт, из-за которого трава не проросла.

Я держал в руках пустой ящик из-под немецких консервов и в течение полутора секунд был совершенно, невероятно счастлив — потому что там ничего не было и потому что мы все живы.

— Восемьдесят пять!

Я поднял голову.

И увидел, как справа, над бруствером, поднимается белый флажок.

Дальше было четыре секунды.

Я их помню все четыре, по отдельности, и буду помнить всегда.

Первая: я понял.

Вторая: я заорал «Назад!» и рванул Ткаченко за плечо.

Третья: Ерохин, который лежал у самого тамбура с уже развязанным мешком — с моим узлом, с одной петлёй, полторы секунды, — начал вставать.

Четвёртая: он встал.

Он встал в полный рост, потому что за шесть дней я его научил: если сказано «назад», ты не ползёшь, ты идёшь. В нагруднике не ползают.

Он выпрямился, и в этот момент в двадцати шести метрах справа сработал заряд Луконина.

Меня не задело совсем.

Вот что надо сказать сразу, потому что это и есть главное.

Я лежал у левого косяка, на животе, ниже всех — снимал землю руками и был вжат в грунт настолько, насколько позволял нагрудник.

Ткаченко лежал в двух метрах, за поворотом хода сообщения.

Гладышев был у бруствера, тоже лёжа.

Ерохин стоял.

Двадцать шесть метров и земляная насыпь между — этого хватило бы всем нам, если бы все были внизу.

Я поднялся через несколько секунд.

Сперва не понял, почему в ушах так тихо. Потом сообразил, что не тихо, а наоборот — что там сплошной ровный звон и что я в нём сижу, как в вате.

Ткаченко шевелился и беззвучно кричал.

Гладышев лежал на боку, поджав ноги, и держался за бедро.

Ерохин лежал в четырёх шагах от тамбура, лицом вниз, там, где его положило.

Я подполз.

Дальше не буду.

Скажу только, что нагрудник на нём был целый. Вообще целый, без единой вмятины. Осколки, которые прошли, шли выше — там, где брони нет, потому что там шея и лицо.

Я снял с него нагрудник.

Зачем — не знаю. Потому что надо было что-то делать руками.

Потом сел рядом и просидел, пока не пришли.

Гладышева увезли в медсанвзвод, и он выжил.

Потерял часть бедренной мышцы и до конца жизни хромал, но выжил, и я потом получил от него два письма — одно в сорок четвёртом и одно в шестьдесят третьем, из Череповца.

Ткаченко контузило. Он отлежался за пять суток и вер-

нулся в строй.

Ерохину Ивану Петровичу было девятнадцать лет. Родом он был из Тамбовской области, призван в марте, в бригаде с июля.

Столько же, сколько мне по бумагам.

Про то, что было между взрывом и разбором, я помнил кусками.

Помнил, как ко мне подошёл Луконин.

Он подошёл первым, раньше санитаров, раньше Гурьянова, — он бежал двадцать шесть метров и добежал за несколько секунд, что при его весе и в нагруднике вообще-то невозможно.

Остановился, посмотрел на Ерохина, потом на меня.

И ничего не сказал.

Постоял, повернулся и пошёл обратно к своей группе — очень прямо, не оглядываясь.

Помню, как кто-то принёс плащ-палатку.

Помню, как сидел на бруствере и держал в руках нагрудник Ерохина — целый, чистый, без единой вмятины, и как ко мне подошёл санитар и попытался его забрать, а я не отдал.

Отдал через полчаса, старшине роты.

Тот принял его, повертел в руках, поглядел на просвет — зачем-то, будто там могла быть трещина, — и вздохнул.

— Целый нагрудник-то.

— Целый, ни вмятины.

— Оно, завсегда так, — обронил старшина, укладывая на-

грудник в кузов. — Он от осколка держит, а осколок в него не попадает. Он в шею идёт или в лицо.

Он поправил ключи на поясе.

— Мы про это комбригу второй месяц пишем. Чтоб воротник какой сделали или подшлемник железный. А нам отвечают, что образец утверждён и менять не положено.

Он захлопнул борт.

— Ты руки-то разожми. У тебя костяшки белые.

Ерохина хоронили в тот же день, к вечеру, у подножия бугра, вместе с бойцом из первого батальона, который погиб накануне на другом доте.

Копали в три лопаты, в глине, и копали долго.

Гурьянов сказал четыре фразы — коротко, по-уставному, без единого лишнего слова.

Он, я потом узнал, говорил над каждым и говорил всегда одно и то же, слово в слово, потому что считал, что подбирать слова тут нечестно: у одного выйдет складнее, у другого хуже, а лежат они одинаково.

Столбик поставили сразу, ещё до того, как засыпали, — сколоченный из доски, с жестянкой от консервной банки, на которой чем-то острым были нацарапаны фамилия, инициалы и две даты.

Царапал старшина роты. У него это выходило быстро и ровно, и я потом сообразил, что он это делает не в первый раз и что жестянки у него, вероятно, заготовлены впрок.

Взвод стоял.

Я стоял с краю, потому что был уже не командир взвода, а никто, и место мне было с краю.

После, когда все разошлись, ко мне подошёл Ткаченко.

Он ещё качался после контузии и держался рукой за колесо полуторки.

— Товарищ старший сержант.

— Я тебе не товарищ старший сержант, — поправил я. — Я в распоряжении начштаба.

— Ну а как?

— Никак. Просто говори.

Он потоптался.

— Взвод просил вам передать.

— Что передать?

— Что взвод не считает, что вы виноваты.

Я поглядел на него.

Он стоял, держась за колесо, бледный, с обгорелой щекой и с новой ссадиной через лоб, и говорил явно заготовленное — не своё, а составленное сообща, у костра, пока я сидел на бруствере.

— Ткаченко, скажи взводу спасибо. И скажи, что они неправы.

Он моргнул.

— Дык мы ж...

— Я его послал за вешками по проверенной полосе, — обронил я. — Тьфу. Не так.

Я остановился, потому что сказал не то.

Никаких вещей тут не было, и полосы не было. Это было в июле, за шестьсот километров отсюда, и того мальчишку звали Гриша.

А этого звали Ваня.

— Я велел ему «назад», — выговорил я заново. — И я же его перед тем шесть дней учил, что «назад» — это идти, а не ползти. Он выполнил то, чему я его научил.

Ткаченко долго молчал.

— Так это ж правильно, — обронил он наконец. — В нагруднике не ползают.

— Правильно, не поспоришь.

— Так а как надо было?

И вот тут я не нашёл что ответить.

Потому что ответа не было. Ползти в нагруднике нельзя. Лежать под чужим зарядом нельзя. Остаться на площадке после белого флажка нельзя.

Всё, что можно было сделать, надо было сделать за четырнадцать часов до этого.

— Никак не надо было, — обронил я. — Надо было вчера.

Разбор был в тот же день, в четырнадцать ноль-ноль.

Гурьянов вызвал троих: меня, Луконина и хронометриста. Мы стояли в его палатке. Он сидел.

— Хронометрист. Доложи.

Боец — молодой, с мокрым лбом — стал докладывать по своим записям.

Красный флажок — сорок пять ровно. Белый — восемьдесят пять ровно. Луконин на площадке был с пятьдесят восьмой по семьдесят восьмую секунду. Подрыв — девяносто две и три десятых.

— Луконин. Твои претензии?

— Никаких, товарищ майор, — отчеканил Луконин.

— Ты ушёл вовремя?

— На семьдесят восьмой, — доложил он. — За семь секунд до нормы.

— Свободен, Луконин.

Луконин не двинулся.

— Товарищ майор, разрешите остаться, — попросил он.

Гурьянов кивнул.

— Ковалёв. Во сколько ты был на площадке?

— В пятьдесят две, — доложил я.

— Во сколько должен был уйти?

— В восемьдесят пять.

— Во сколько ушёл?

Я молчал.

— Во сколько ушёл, старший сержант?

— Не ушёл, товарищ майор, — признал я.

Гурьянов положил обе ладони на стол.

— Что ты делал с шестьдесят третьей секунды по восемьдесят пятую?

— Снимал грунт у левого косяка, — доложил я.

— А зачем ты его снимал?

— Щуп упёрся во что-то твёрдое, и я стал разбирать.
Я почувствовал, как немеет лицо.

— Во что упёрся?

— В пустой ящик, — выговорил я.

— Громче говори, я не слышу.

— В пустой ящик из-под немецкого имущества, присыпанный обвалившимся накатом.

Гурьянов не изменился в лице.

— Ты его вскрыл?

— Так точно.

— На восьмидесятой секунде.

— Так точно.

— И на восемьдесят пятой ты был на площадке с тремя людьми.

— Так точно.

Он помолчал.

— Ковалёв, ты вчера вечером мне доложил про этот грунт.

— Так точно.

— Что ты мне сказал?

— Что вход трогали. Что грунт у левого косяка не оседал, а насыпан и придавлен.

— А я что сказал?

— Что дот брошен в августе и через него прошло полбригады.

— А ты?

— А я попросил разрешения прошупать перед постановкой.

Гурьянов кивнул.

— Перед постановкой, — повторил он. — То есть в шесть часов двенадцать минут утра шестнадцатого сентября. На объекте. Под работающим станковым. В девяноста секундах.

Он наклонился вперёд.

— А почему не вчера вечером?

Я стоял.

Вот об этом я не думал.

За те восемь часов, что прошли с подрыва, я передумал очень много всего. Я разложил эти девяноста секунд по одной и знал, где потерял каждую. Я знал, что надо было орать раньше на три секунды. Я знал, что надо было велеть Ерохину лежать, а не «назад».

А вот этого простого вопроса я себе не задал ни разу.

— Не знаю, товарищ майор.

— Знаешь ты, Ковалёв.

Я молчал.

— Ты вчера в девятнадцать ноль-ноль стоял у этого входа, — обронил Гурьянов. — У тебя было светло. Тихо. Никто по тебе не стрелял. Никакого счёта не было вообще.

Он поднял руку и загнул палец.

— Сколько времени тебе надо было, чтоб вскрыть этот ящик вчера?

— Минут двадцать, — прикинул я.

— У тебя было четырнадцать часов.

Он откинулся на табурете.

— Ты не медленный, Ковалёв. Ты просто выбрал делать медленно в единственные девяносто секунд за сутки, когда этого делать нельзя.

Я стоял и понимал, что он прав.

И что это, наверное, самая точная вещь, которую мне сказали за обе жизни.

— Товарищ майор, разрешите.

— Говори, слушаю.

— Я думал, что проверять надо перед работой. Я так работал три месяца. Перед тем как ставить — проверь.

— И что дальше?

— И я не сообразил, что «перед работой» и «на работе» — это теперь разные сутки.

Гурьянов долго на меня смотрел.

— Вот, — обронил он. — Вот теперь ты сказал.

Он поднялся.

— Приказом по батальону с сегодняшнего числа отстраняешься от командования взводом. Взвод примет ефрейтор Ткаченко, когда отлежится. Ты поступаешь в распоряжение начальника штаба батальона.

— Есть сдать взвод.

— Оружие сдавать не будешь, это не арест.

— Понял вас.

— Свободен, иди.

Я вышел.

Луконин догнал меня у сосны.

Он остановился передо мной — на голову выше, с двумя орденами, — и на лице у него не было ничего. Совсем ничего.

— Я вышел на семьдесят восьмой.

— Я знаю.

— Я всё сделал правильно.

— Я знаю, Луконин.

— Так какого... — он замолчал. Отвернулся. Постоял, глядя куда-то на бугор, где стоял дот номер два. — У меня третий. Третий за войну, кого я своим зарядом.

Он повернулся ко мне.

— Ты понимаешь, что я теперь буду про это думать? Всю жизнь. Хотя я всё сделал правильно.

— Понимаю, Луконин.

— Ни хрена ты не понимаешь.

Он пошёл прочь.

Прошёл шагов пять, остановился и вернулся.

— Ковалёв, ты давно в этом деле?

— С июня. Три месяца.

Луконин уставился на меня.

— Три месяца, — повторил он. — А до июня ты кем был?

— Никем. Ящики таскал.

Он постоял, разглядывая меня так, будто увидел впервые.

— И ты за три месяца дошёл до того, что вход щупаешь,

покамест все мимо ходят? И четвёрку по номерам разложил?

— Выходит, дошёл.

Луконин потёр лоб ладонью.

— Знаешь, чего я не пойму? — произнес он. — Я не пойму, как у человека может быть три месяца стажа и при этом тридцать лет привычек.

Он поглядел на меня.

— У тебя, минёр, руки старые. Я это на второй день заметил, а сообразить не мог.

Я молчал.

— Ладно, — заключил Луконин. — Не хочешь — не говори. У нас тут половина чего-нибудь не говорит.

Он снова пошёл.

На на пятом шаге вновь обернулся

— Ковалёв. Ты вчера правильно проверял.

— Чего правильно?

— Вход. Ты правильно, что полез. У нас в июле под Спас-Деменском в таком же тамбуре сидело двенадцать кило, и мы его вскрывали двое суток.

Он сплюнул.

— Всё правильно, — обронил он. — Только не тогда.

Глава 4

В распоряжении начальника штаба батальона я пробыл девять суток.

Начальником штаба был капитан Ляшко — маленький, круглый, вечно потный человек лет сорока, который никогда не повышал голоса и никогда никому не смотрел в глаза.

Он принял меня в первый же день, поглядел куда-то поверх моего плеча и обронил:

— Ковалёв? Ага, — не поднял он глаз. — Ну, вы пока...

— Он пошевелил пальцами. — Вы пока при мне.

— Какие будут указания, товарищ капитан? — уточнил я.

— Указания будут, — пообещал Ляшко и полистал бумаги на столе, явно не читая. — Указания будут. Вы пока не мешайте.

Так я и не мешал девять суток.

Практически это означало, что я таскал ящики, чинил полосу, дважды ездил на станцию за имуществом и один раз двое суток караулил склад с двумя новобранцами, которые всю ночь спрашивали меня, страшно ли на войне.

Я отвечал, что страшно.

Они мне верили, потому что у меня была медаль.

На третий день ко мне пришёл Луконин.

Пришёл на полосу, где я в тот час менял доску, встал рядом и минут пять молча смотрел, как я работаю.

— Тебе помочь? — предложил он. — Дай хоть гвозди поддержку, а то ты их в зубах таскаешь.

Он взял горсть гвоздей и стал подавать по одному, и мы минут двадцать работали молча, и это было первое молчание с ним, которое меня не раздражало.

— Ковалёв, я к Гурьянову ходил, — признался он.

Я перестал стучать.

— Зачем ходил-то?

— Просил, чтоб он тебя вернул, — признался он.

Я поглядел на него.

Луконин глядел на доску и подавал гвозди.

— Ты чего? — обронил я. — Ты ж мне сам говорил, что мне тут не место.

— Говорил, было дело, — не отрёкся он.

— И что переменялось?

— Ничего не переменялось, — он подал очередной гвоздь. — Тебе тут не место, ты через ров не прыгаешь и на стенку не лезешь. А порядок ты завёл правильный, и его теперь Ткаченко ведёт, а Ткаченко его не придумывал и через месяц упростит.

Он поглядел на меня.

— Люди завсегда упрощают то, чего не придумывали, — подытожил он.

— И что тебе Гурьянов ответил?

— Послал, — усмехнулся Луконин. — Вежливо. Сказал, что решение принято и что не моё дело.

Он высыпал оставшиеся гвозди мне в ладонь.

— Я, знаешь, чего к нему пошёл? — продолжил он.

— Не знаю, Луконин.

— Мне мой второй номер снится, — обронил он. — Который в июле наверху остался. Он мне почти каждую ночь снится, и во сне он руку тянет.

Он вытер ладони о штаны.

— А ты придумал, что делать, чтоб он её не тянул. И я хочу, чтоб это осталось.

Он повернулся и пошёл.

— Луконин, погоди.

Он остановился.

— Ты его как звал-то? Второго номера.

— Пашкой звали, — уронил он. — Павел Ерёмин, из Саратова. Двадцать четвёртого года, — произнес он и ушёл больше не сказав ни слова.

Полосу я чинил один, и это оказалось лучшим из всего, что со мной случилось в те девять дней.

Полоса требовала починки постоянно: ров осыпался, стенка расшатывалась, доски трескались. Раньше этим занималась хозяйственная команда по остаточному принципу, а теперь занимался я, потому что мне было всё равно чем.

И на третий день я поймал себя на том, что чиню её не так, как она была.

Я подравнял осыпь у рва — и понял, что теперь его края

держат хуже.

Я поставил новую доску на трубе — и понял, что она на палец толще прежней и что в трубу теперь входить чуть неудобнее.

Я поправил проволоку — и, поправляя, сдвинул один кол на полметра.

Ни одно из этих изменений не было нарочным. Все три были следствием того, что чинил не тот, кто строил.

А потом я стоял и смотрел, как через эту полосу идёт четвёрка первого взвода.

И трое из четверых на трубе сбились.

Не упали, не задержались надолго — сбились. На секунду, на две, потому что вход стал на палец уже и потому что они шли по памяти, а память была от старой доски.

Я сел на бруствер и просидел час.

Взвод со мной здоровался.

Вот что было самое поганое: они здоровались нормально. Не отворачивались, не сторонились, не переходили на другую сторону.

Ткаченко, вернувшись из медпункта, зашёл ко мне первым делом и доложил, будто я всё ещё командир: взвод принял, порядок счёта менять не будет, потому что порядок хороший.

Они меня не винули.

Я потом много думал, почему, и, кажется, понял: они видели своими глазами, что я лез в тамбур руками, лёжа, на

восьмидесятой секунде, и что я вылез оттуда последним.

Для них это закрывало вопрос.

Для меня не закрывало ничего.

На четвёртый день я пошёл на Кобылинский узел.

Пошёл один, без разрешения, — впрочем, разрешения мне и не требовалось: я был никто и мог ходить где угодно до вечерней поверки.

Двенадцать километров туда, двенадцать обратно. Вышел в пять утра, дошёл к семи.

Дот номер два стоял на месте.

Амбразура была разворочена — Луконин своё дело сделал, и сделал чисто: свод просел внутрь, как и должен был. Входу тамбура я вчетверо расширил своим ковырянием, и там теперь была яма, а рядом валялся тот самый ящик, выброшенный кем-то наверх.

На ящике сидела ворона.

Она поглядела на меня, но не улетела, а только отодвинулась на другой край.

Я сел на бруствер и стал смотреть.

Смотрел я часа три.

Утро было такое, каких в сентябре выпадает штук пять на весь месяц: без ветра, с высоким белым небом и с тем особенным светом, при котором было лучше видно, что творилось далеко, нежели вблизи.

С бугра открывалось вёрст на двадцать.

Внизу лежала бывшая нейтралка — полоса метров в че-

тыреста, заросшая бурьяном по грудь, с проволокой, свёрнутой в ржавые мотки, и с воронками, которые за месяц уже начали оплывать по краям.

За ней стояла деревня без крыш.

Ещё дальше — лес, и над ним, у самого горизонта, поднялся дым: там что-то жгли или что-то горело само, и дым стоял ровным столбом, потому что ветра не было.

А вокруг меня по всему бугру росла полынь.

Она проросла везде: по брустверу, по ходам сообщения, по осыпавшимся стенкам траншеи. За полтора месяца, что тут никого не было, полынь взяла эту высоту обратно, и от неё шёл такой густой горький дух, что к третьему часу у меня заболела голова.

И вот на этом бугре, в полыни, я и понял главное.

И постепенно во мне стало складываться то, ради чего, наверное, всё это и было.

Я думал так.

Я знал про этот вход всё. Я видел насыпанный грунт шестнадцатого в семь вечера. Я знал, что немцы при отходе минируют входы, потому что три месяца только этим и занимался. Я знал даже, где именно смотреть, — у левого косяка, потому что правый косяк был обрушен и туда никто не полезет.

Я знал всё, что нужно, за четырнадцать часов до штурма. И применил это знание на восьмидесятой секунде. Почему?

Потому что у меня в голове сидел порядок из другой жизни.

В той жизни, на минном поле, «перед работой» и «на работе» — это одно и то же место и одно и то же время. Ты пришёл на поле, лёг и работаешь, и вся твоя осторожность живёт внутри. Ты можешь остановиться в любую секунду, потому что никто тебя не считает.

А тут работа длится полторы минуты.

Полторы минуты — это не время. В полторы минуты ничего нельзя обдумать, проверить и решить. В полторы минуты можно только сделать то, что уже решено.

Значит, вся осторожность должна быть вынесена наружу.

Значит, думать надо не медленно, а заранее.

Я сидел на бруствере разбитого дота и повторял это про себя разными словами, потому что чувствовал, что нащупал что-то очень простое и очень большое, и боялся, что оно ускользнёт, как ускользает утренний сон.

Ворона слетела с ящика и села в трёх шагах.

— Ну да, — обронил я ей. — Ну да, конечно. Четырнадцать часов.

Она наклонила голову и поглядела на меня одним глазом — тем особенным вороньим взглядом, в котором всякий человек читает то, что ему нужно.

— Ты не гляди так, — прибавил я. — Ты, поди, тут всё видела.

Ворона переступила лапами и осталась.

Я потом три года вспоминал этот разговор и каждый раз стыдился, потому что разговаривать с вороной на бруствере разбитого дота — это, если поглядеть со стороны, довольно скверный признак.

А тогда мне было всё равно.

Обратно я шёл двенадцать километров и всю дорогу разговаривал сам с собой, и один раз меня обогнала подвода, и ездовой оглянулся на меня с явным сомнением.

Вернулся затемно и всю ночь писал.

Писал в тетради, кривым своим почерком, при огарке, лёжа на нарах и мешая соседям.

К утру было четыре страницы.

«Штурмовая группа не может работать осторожно. У неё нет времени на осторожность. Всё, что она делает, она делает по решению, принятому заранее.

Следовательно, качество штурма определяется не тем, что происходит на объекте, а тем, что происходило до него.

Отсюда: главная работа командира группы делается не в бою, а за неделю до боя.

Что должно быть решено заранее:

- порядок номеров и кто кого сменяет при выбытии;
- все узлы, застёжки, крепления — так, чтобы ни один не требовал взгляда;
- точка постановки заряда на каждом типе объекта;
- что делает группа, если объект оказался не таким, как в задаче.

Последнее — главное и никем не отработано».

Тут я остановился и минут двадцать грыз карандаш.

Потом дописал:

«На Кобылинском узле у меня был неопознанный предмет во входе. У меня не было ни одного заранее принятого решения на этот случай. Я стал решать на месте, потому что человек всегда решает на месте, если ему нечего вспомнить.

Вывод: группе нужен не только порядок действий. Группе нужен порядок для случая, когда порядок не подходит.

Как этому научить: не рассказом. Рассказ забывается на второй день. Нужен объект, на котором можно ошибиться сто раз и остаться живым».

Последнюю фразу я подчеркнул дважды.

И под ней написал одно слово:

«Макет».

Утром я его перечитал и понял, что этого мало.

Потому что макет у нас был. Полоса на восьмистах метрах и была макетом, и очень хорошим макетом, скопированным с настоящего опорного пункта.

И толку от него оказалось ровно столько, сколько было.

Я лежал на нарах, глядел в брезент и думал.

И вспомнил трубу.

Ту самую, на которой трое из четверых сбились, потому что я поставил доску на палец толще.

Они прошли эту трубу двести раз. Они знали её наизусть. И именно поэтому одна доска в палец толщиной сбила тро-

их.

Я сел на нарах так резко, что сосед выругался.

Я понял одну простую вещь.

Макет не должен быть точным.

Скорее даже наоборот. Он должен быть неточным. Причём каждый по-разному каждый раз.

Потому что на настоящем объекте не будет ни одной вещи такой, как на макете. Там будет другая высота, другая ширина, другой грунт, другой вход и обязательно что-нибудь, чего вообще никто не предусмотрел.

И группа, вымуштрованная на точной копии, споткнётся о первую же несовпадающую доску.

А группа, привыкшая, что всё несовпадающее, — не споткнётся.

Я слез с нар и пошёл искать Гурьянова.

Была половина шестого утра.

Комбат нашёлся у машин.

С ночи шла погрузка — я про это не знал, потому что писал и не выходил, и машины стояли в две колонны вдоль просеки, и по просеке ходили злые невыспавшиеся люди с ящиками.

Гурьянов стоял у первой полуторки, небритый, с планшетом под мышкой, и от него пахло бензином.

— Товарищ майор, разрешите обратиться, — окликнул я. Он обернулся на ходу.

— Ковалёв, ты отстранён, — напомнил он.

— Так точно, — не стал спорить я. — Я не по службе.

Он остановился.

— Ну?

— Мне нужен лес.

Гурьянов моргнул.

— Чего тебе надо?

— Лес. Кругляк, горбыль, жерди. И земляные работы.

— Сколько тебе всего этого?

— Двести человеко-часов. Может, триста.

Он очень медленно повернулся ко мне всем корпусом.

— Ты соображаешь, что просишь? — обронил он. — Мы через сутки снимаемся. У меня укомплектованность шестьдесят один процент, у меня половина людей не спала три ночи, и у меня приказ быть на Днепре двадцать шестого.

— Так точно, соображаю.

— И ты у меня просишь триста человеко-часов на дрова?

— Не на дрова, — возразил я.

— А на что?

Я протянул ему тетрадь, раскрытую на последней странице.

Он взял её левой рукой, а правой придержал планшет, и стал читать стоя, у машины, при сером утреннем свете.

Читал минуты три.

Я видел, как он дошёл до подчёркнутой фразы, потому что он остановился и вернулся к ней глазами.

Потом поглядел на одно слово внизу.

— Макет чего именно? — уточнил он.

— Того, что будет на правом берегу, — отозвался я.

— А что там будет?

— Я не знаю, товарищ майор. Никто не знает. Но когда узнаем — надо будет строить и лазить, а не рассказывать.

Гурьянов закрыл тетрадь и подержал её в руке.

— Ковалёв, — обронил он. — Ты понимаешь, что я тебя девять дней назад снял с взвода?

— Понимаю, товарищ майор.

— За то, что ты у меня человека положил.

— Так точно.

— И ты сейчас приходишь ко мне и просишь роту людей и лес.

— Так точно.

Он поглядел на просеку, где грузились машины.

Потом на тетрадь. Потом на меня.

— Пойдём-ка со мной, — велел он.

Мы отошли шагов на двадцать, за штабель ящиков, где было потише.

— Садись, разговор будет.

Мы сели на ящики.

Гурьянов открыл тетрадь снова, нашёл нужное место и постучал по нему пальцем.

— Вот тут ты пишешь: «группе нужен порядок для случая, когда порядок не подходит». Растолкуй.

Я растолковал.

Про то, что на объекте никогда не будет так, как в задаче. Про доску на палец толще. Про то, что человек, обученный точной копии, спотыкается о первое же несовпадение и тратит на него четыре секунды, а четыре секунды в штурме — это половина потерь.

Гурьянов слушал не перебивая.

— И что ты предлагаешь строить?

— Не копию, — отозвался я.

— А что?

— Кусок берега, — пояснил я. — Просто кусок. Обрыв, осыпь, наверху траншея. И чтоб его можно было переставлять между заходами.

— Как переставлять?

— Сегодня ступенька в осыпи на полтора метрах. Завтра на полметра левее и выше. Послезавтра её нет вообще. И никто не знает заранее.

Гурьянов долго молчал.

— Так это нечестно, — не принял он наконец.

Я потом эту фразу услышал раз тридцать, от разных людей, слово в слово. От Луконина, от Ткаченко, от всех троих командиров отделений.

От Гурьянова я её услышал первым.

— Нечестно будет там, товарищ майор, — возразил я.

Он поглядел на меня.

— Ковалёв, а ты понимаешь, что я тебя за это могу под

трибунал отдать?

— За макет?

— За то, что ты мне через сутки перед выходом предлагаешь ломать боевую подготовку.

Он захлопнул тетрадь.

— У меня всё расписано. У меня на двадцать один день график, утверждённый комбригом, с подписью. У меня в графике полоса, полоса и ещё раз полоса, и мы к двадцать шестому выходим на шесть двадцать.

— На шесть двадцать вы выйдете, — обронил я. — А на правом берегу это не пригодится.

Гурьянов не ответил.

Он сидел на ящике, положив планшет на колени, и глядел на просеку.

Мимо прошли двое с ящиком, споткнулись, чуть не уронили и обложили друг друга шёпотом.

— Ковалёв, — обронил комбат. — Я тебе сейчас расскажу, а ты слушай и не перебивай.

— Слушаю вас.

— В июле, под Спас-Деменском, мы брали опорный пункт. Мы к нему готовились одиннадцать дней, у нас был макет в натуральную величину, мы по нему прошли сорок раз. Сорок, Ковалёв. Я лично считал.

Он потёр бритую голову.

— И мы пошли, и всё сломалось на второй минуте.

— А почему сломалось?

— Потому что у них перед дотом была канава. Обыкновенная водоотводная канава, метр глубиной. Её не было на аэрофотоснимке, потому что она заросла, и её не было на макете.

Он поглядел на меня.

— Люди в неё попадали. Все двенадцать человек, один за другим, потому что бежали по счёту и смотрели вперёд. Они там пролежали восемнадцать секунд.

— И что дальше?

— И восемнадцати секунд хватило, чтоб пулемёт перенёс огонь, — Гурьянов положил ладони на планшет. — У меня из двенадцати вышло четверо.

Он помолчал.

— Одна канава. Метр глубиной. После сорока заходов по точной копии.

Он поднялся.

— Сколько тебе надо времени?

— Три недели, — прикинул я.

Комбат поглядел на часы.

— У тебя пять дней, — отрезал он.

— Товарищ майор...

— Пять дней, Ковалёв, — отрезал он. — И не тут. Тут мы через сутки снимаемся.

— А где?

— На месте сосредоточения. Мы приходим двадцать шестого, а переправа не раньше первых чисел октября — пока

подтянутся, пока разведают, пока средства подвезут. Вот тебе окно.

— Товарищ майор, разрешите ещё вопрос.

— Валяй, спрашивай.

— А почему вы соглашаетесь?

Гурьянов приподнял бровь.

— Ты меня отговариваешь, что ли?

— Никак нет. Я понять хочу.

Он поглядел на просеку, где грузилась третья рота.

— Оттого, что я про эту канаву третий месяц думаю, — ответил он. — Каждую ночь. И додумался ровно до одного: надо было её предвидеть.

— Её нельзя было предвидеть.

— Вот именно, — он повернулся ко мне. — Вот в этом всё и дело, Ковалёв. Её нельзя было предвидеть, и я это знаю, и мне от этого не легче, а тяжелее. Потому что выходит, что я всё сделал правильно и восемь человек всё равно легли.

Он помолчал.

— А ты мне вчера ночью написал, что предвидеть и не надо. Что надо приучить людей к тому, что будет непредвиденное.

— Так точно.

— Это, знаешь, первая мысль за три месяца, от которой мне легче.

Он сунул мне тетрадь.

— Людей дам после прибытия. Столько, сколько смогу

оторвать от работ, а работ там будет много: нам ещё лодки конопатить.

— Есть, товарищ майор.

— И вот ещё что.

Он остановился.

— Взвод я тебе обратно не отдам.

Я молчал.

— Не потому, что не верю, — обронил Гурьянов. — А потому, что ты им сейчас нужен не как командир. Командиров у меня хватает, у меня Ткаченко хороший. А человек, который вот это придумывает, у меня один.

Он поглядел на меня.

— Так что ты, Ковалёв, у меня теперь при штабе. Официально.

— В какой должности?

— А ни в какой, — заключил комбат. — В штате такой должности нет. Ты у меня будешь тот, кто строит и портит.

В тот же день, к вечеру, я нашёл Ткаченко.

Он сидел у палатки и подшивал воротничок — медленно, неловко, левой рукой помогая правой, потому что после контузии у него ещё дрожали пальцы.

— Ткаченко, поди сюда.

— Товарищ старший сержант.

— Сядь и не вставай. У меня к тебе разговор не по службе.

Он опустил обратно и отложил гимнастёрку.

— Взвод у тебя, — произнес я. — И останется у тебя, я

обратно не приду.

— Дык это ж...

— Ткаченко, слушай. Порядок, который мы завели, ты через месяц упростишь.

Он вскинулся.

— Не упрощу! — вскинулся он.

— Упростишь. Не со зла, — я сел на землю напротив. — Ты его не придумывал, значит, ты не знаешь, зачем в нём каждая мелочь. И когда тебе станет некогда, ты выкинешь то, что покажется лишним.

— А чего покажется лишним?

— Счёт вслух, — обронил я. — Он всегда первым кажется лишним. Потому что люди и так знают, кто где, и потому что вслух считать неудобно и голос садится.

Ткаченко подумал.

— А зачем он тогда нужен? — не понял Ткаченко.

— Затем, что на третьей минуте ты перестанешь знать, кто где, — пояснил я.

Он молчал.

— И вот тебе просьба, — прибавил я. — Не как командир, а по-человечески. Когда решишь его выкинуть — сперва попробуй один заход без него и засеки время.

— И всё?

— И всё, — подтвердил я. — Больше ничего не прошу.

Ткаченко поднял гимнастёрку, повертел её и положил обратно.

— Товарищ старший сержант, а можно я спрошу?

— Спрашивай.

— Вы почему обратно не приходите? — не отставал он.

— Взвод же вас ждёт.

Я поглядел на него.

Он спрашивал искренне — на лице у него не было ни укора, ни жалости.

— Потому что Гурьянов прав, — признал я. — Я вам сейчас нужен не как командир.

— А как же тогда?

— Как тот, кто строит. Чего строить — пока не знаю, узнаю на месте.

Снялись в ночь на восемнадцатое.

Колонна вышла из леса под Карачевом в час пятнадцать и до рассвета шла на запад с погашенными огнями.

Я сидел в кузове второй машины, между ящиками, и глядел, как в темноте проползают деревни.

Их было не разглядеть — только угадывались по запаху. Горелым пахло на подъезде к каждой.

К утру рассвело, и я увидел то, к чему за лето не привык и не привыкну никогда.

Деревни стояли трубами.

Я это уже видел под Орлом, и на дороге к Брянску, и теперь снова — то же самое, только гуще. Мы шли по местам, где немец простоял два года и уходил в этом августе, не то-

ропясь, с толком.

Трубы, ямы, натоптанные тропинки, дым из-под земли.

На третьем часу пути колонна встала — впереди чинили мост, и к машинам сразу подошли бабы.

Они несли варёную картошку в тряпицах и меняли её на что придётся: на соль, на махорку, на нитки.

К нашему борту подошла одна, лет тридцати, в мужском пиджаке, подпоясанном верёвкой.

— Соль есть, сынки? — окликнула она.

— Нету соли, мать, — отозвался Гладышев. — Была, да вышла.

— А спички найдутся? — не отставала она.

— Спички дам, — откликнулся Гладышев.

Он полез в карман, достал коробок, отсыпал половину в подставленную ладонь и половину оставил себе.

Баба сунула ему в руки узелок с картошкой, и он взял, потому что не взять было нельзя.

— Мать, — окликнул Ткаченко. — А немец давно ушёл?

— В августе, — отозвалась она. — Двадцатого числа.

— И как уходил?

Она подумала.

— Тихо уходил, — припомнила она. — Мы думали, они жечь станут, у нас соседи говорили, что в Городище всё жгли. А эти не жгли.

— Совсем не жгли?

— Совсем. Только колодец засыпали, а больше ничего.

Мы уж радовались.

Я перегнулся через борт.

— Мать. А колодец у вас один был?

Она подняла на меня глаза.

— Один, — подтвердила она. — Он у нас на всю деревню один, ещё дедами копанный.

— И его засыпали?

— Засыпали. Землёй и камнями, доверху. Мы теперь на речку ходим, а до речки полторы версты.

Я слез с борта.

— Ковалёв, ты куда? — окликнул Ткаченко.

— Погоди минуту.

Я подошёл к бабе.

— Мать, вы его откапывать не пробовали? — насторожился я.

— Дык пробовали, — развела она руками. — Мужиков нету, — вздохнула она. — А мы вчетвером неделю копали и бросили. Он глубокий, там саженой шесть.

— И далеко успели?

— Аршина на два, не больше, — призналась она. — Земля-то мёрзлая не мёрзлая, а слежалась, и камни там, здоровые. Мы вчетвером неделю, а потом Дарья спину сорвала, и мы бросили.

Она поглядела на меня.

— А что?

Я поглядел на деревню — четыре двора и трубы.

— Мать, — выговорил я. — Вы туда больше не лазайте.

— Это отчего же?

— Оттого, что немцы колодцы просто так не засыпают, — объяснил я.

Она смотрела на меня, не понимая, и по лицу её было видно, что она уже прикидывает, не порченный ли я и не отойти ли подальше.

А я стоял и понимал совершенно отчётливо: колодец на всю деревню один, деревня без воды не живёт, и человек, который засыпал этот колодец, знал ровно две вещи.

Что его будут откапывать.

И что копать будут долго, потому что мужиков нет.

— Ткаченко! — окликнул я. — Пошли двоих к капитану Ляшко. Пусть доложит: в деревне засыпанный колодец, требуется проверка сапёрами.

— Дык мы ж уходим!

— Значит, пусть передаст по команде. Пусть оставят кого-нибудь из хозяйственной команды с запиской.

Я повернулся к бабе.

— Как деревня-то называется? — окликнул я.

— Малые Дворики, — отозвалась она. — Мы к Городищенскому сельсовету приписаны.

— Запомнил, мать. Малые Дворики.

Колонна тронулась через двадцать минут.

Я записал название в тетрадь — на последней странице, где у меня шли записи не по службе.

А ниже приписал:

«Он засыпал колодец, зная, что бабы станут откапывать. Значит, он думает не про то, кто придёт с оружием. Он думает про то, кто придёт с лопатой».

Про Малые Дворики я потом узнал в декабре, из письма. Но об этом позже.

А в тот день мы прошли ещё сорок километров и к вечеру вышли к железной дороге.

Тут кончались Малые Дворики, кончался тыл и начиналось то, к чему нас везли.

Железная дорога была разрушена.

Не разбита бомбами — разрушена, методически, специальной машиной, которую немцы таскали за паровозом. Шпалы лежали переломанные точно посередине, все до одной, версту за верстой, а рельсы валялись рядом, изогнутые как проволока.

Колонна встала у переезда, пропуская встречный поток, и я слез размять ноги и прошёл вдоль полотна метров триста.

Триста метров — и ни одной целой шпалы.

Шум здесь был странный: на полотне работала команда, человек сорок, и они выдирали обломки ломami, и по всей насыпи стоял скрип и стук.

Работали в основном женщины.

Я постоял, поглядел, потом подошёл к пожилому мужчине в железнодорожной шинели, который что-то отмечал в тетради.

— Отец, а долго вам тут работы? — окликнул я.

Он поднял голову.

— До Гомеля, — уронил он.

— Это сколько вёрст?

— Двести с гаком, — прикинул он.

Я поглядел вдоль насыпи, где до горизонта тянулись переломанные шпалы.

— И все так?

— Все так, сынок, — подтвердил он. — Все двести с гаком.

Он захлопнул тетрадь.

— Оно, знаешь, обидно чего, — прибавил он. — Не то, что сломали. Ломать оно всякий дурак умеет. А то, что ломали с умом.

— Это как с умом?

— А так, что шпалу можно пополам, а можно на треть, — он показал руками. — Ежели на треть — её ещё поправить можно, обрезать да поставить. А ежели ровно посередине — она уже никуда, только на дрова. И они, паразиты, все ровно посередине бьют. Все двести вёрст.

Он поглядел на меня.

— Это ж кто-то сидел и думал, — подытожил он. — Кто-то сидел, считал и решил: бить посередине. Чтоб мы новые везли.

Я стоял и смотрел на переломанные шпалы.

И думал о том, что человек, который засыпал колодец в

Малых Двориках, и человек, который велел бить шпалу по-середине, — это, вообще говоря, один и тот же человек.

Не в смысле фамилии.

В смысле устройства головы.

Глава 5

Днепр я слышал раньше, чем увидел.

Мы стояли в лесу в четырёх километрах от воды, и всю первую ночь оттуда шёл звук — ровный, глухой, идущий ото-всюду сразу. Не отдельные разрывы, а фон. Будто впереди работал большой завод, и делал это круглосуточно и никогда не останавливался.

Я лежал под машиной, на плащ-палатке, и слушал этот фон часа два, покамест не заснул.

Потому что это была река.

Точнее, это было то, что делалось на реке и над ней.

Увидел я его двадцать восьмого сентября, на рекогносцировке.

Гурьянов взял с собой пятерых: двух ротных, Луконина, Ткаченко и меня. Меня — я до сих пор не знаю почему, ибо формально мне там делать было нечего.

Шли пешком, лесом, потом кустарником, потом ползли.

Последние двести метров ползли по-настоящему, в полный прижим, потому что левый берег тут был голый как ладонь и просматривался с той стороны насквозь.

Вышли на обрыв и легли.

И я увидел.

Я вырос на реке — в той жизни. Не на такой, конечно, но я знал, что такое река шириной в полкилометра. Я через такие

переправлялся на пароме и один раз переплывал на спор, и мне тогда было девятнадцать, и я думал, что это подвиг.

Тут было другое.

Дело было не в ширине, хотя ширины хватало: по прикидке метров семьсот, а с разливом и старицей и того больше.

Дело было в берегах.

Наш берег — левый — лежал ровный, низкий, песчаный, голый. Кусты редкие, до воды двести метров чистого песка, и по этому песку в бинокль было видно всё до последней консервной банки.

Их берег — правый — стоял.

Он поднимался прямо из воды глинистой стеной, метров на сорок, и был весь изрезан оврагами, и по всей его высоте я, приглядевшись, начал различать линии.

Не траншеи даже. Просто линии, чуть темнее глины, идущие горизонтально.

Я смотрел в бинокль минуты три, и через три минуты у меня стало нехорошо в животе.

— Ну как оно тебе? — окликнул Гурьянов рядом.

— Пусто, товарищ майор, — доложил я.

— Что «пусто»?

— Там ничего не видно, — пояснил я. Ни одного человека, ни одного ствола, ни одной точки.

— И что это значит?

Я опустил бинокль.

— И это самое поганое, — подытожил я.

Гурьянов повернул голову.

— Поясни, чего ты там углядел.

Я показал.

— Товарищ майор, поглядите на срез. Вот тут, тут и вот тут. Видите, глина другого цвета? Полосами, горизонтально.

— Вижу полосы.

— Это отвал. Они грунт из траншей выбрасывали не наружу, а за бруствер, внутрь, и часть шла по склону вниз. Полосы старые, поросли травой — значит, копали не вчера и не в августе.

— Что дальше?

— А теперь посчитайте, сколько таких полос.

Гурьянов долго смотрел.

— Много их, — уронил он.

— Три яруса, товарищ майор, — доложил я. — Считая от воды. Верхний — по гребню. Средний — примерно на середине склона. Нижний — почти у самого уреза, там, где кусты.

Я убрал бинокль.

— Они там с весны сидят.

Луконин, лежавший слева, приподнялся на локтях.

— Ковалёв, ты по цвету глины считаешь? — не поверил он.

— По цвету и считаю.

— А если это просто оползень? — усомнился он.

— Оползень идёт языком, сверху вниз, и расширяется

книзу. А эти полосы горизонтальные и одинаковой ширины. Оползень так не ходит.

Он поглядел на меня, потом на берег.

— Ага, вон оно как, — обронил он и лёг обратно.

— Ковалёв, — окликнул Гурьянов. — Ещё что?

— Мины, товарищ майор, — доложил я. — Только не там, где вы думаете.

— А где?

Я приподнялся и повёл биноклем вдоль правого берега.

— Склон сорок метров, глина, крутизна градусов сорок пять. Мины на нём не держатся — их дождём смывает за месяц. И лезть по нему всё равно никто не станет, там без верёвки не пройдёшь.

— Так, допустим.

— А вот тут, — я показал, — и вот тут, и вон там правее, где овраг выходит к воде, — там есть места, где можно выйти из воды и подняться. Три или четыре на всю полосу.

— И что из этого?

— И вот там будет всё.

Гурьянов молчал.

— Товарищ майор, — вклинился капитан Севрюк, командир второй роты. — Так их же артиллерия обрабатает, — вставил он.

— Обрабатает, — не стал спорить я.

И замолчал.

Потому что вспомнил скат под деревней, и жёлтую суреп-

ку, и наши воронки, в которых лежало то, что положили туда зимой.

Наша артиллерия. Своими руками. Установила немецкое минное поле.

— Ты чего замолчал? — Гурьянов глядел на меня.

— Ничего, товарищ майор. Потом доложу.

— Не «потом». Сейчас.

Я поглядел на правый берег.

— Товарищ майор, ежели там сидит тот, о ком я думаю,

— то артиллерия ему не мешает, а поможет.

— Как это?

— В июле, под Орлом, я снимал скат. Там основное лежало в наших собственных воронках. Немцы положили заряды заранее, глубоко, под теми складками, куда наша подготовка ляжет обязательно. Артиллерия отработала, сняла метр грунта и вывела их на боевую глубину.

Луконин повернул голову.

— Врёшь ты всё.

— Не вру, — отрезал я. — Я их оттуда вынимал. Восемь мешков.

Он смотрел на меня секунд пять.

— Товарищ майор, — обронил он потом. — Я это доложить могу?

— Кому доложить?

— Своему комбату. У нас первый батальон в первом эшелоне идёт.

Гурьянов помолчал.

— Доложи, — распорядился он. — Только не как байку, а как есть: со слов старшего сержанта Ковалёва, который это лично снимал. Пусть проверяют.

— Товарищ майор, разрешите ещё.

— Валяй, спрашивай.

— Я бы хотел на воду сходить. Ночью.

Гурьянов повернулся ко мне.

— Это тебе зачем?

— Пощупать берег у уреза. Не наш — тот.

— Ковалёв, ты соображаешь, что просишь? До того берега семьсот метров.

— Соображаю. Я с разведкой.

— С какой разведкой? Разведка туда ходила позавчера и не дошла.

— А почему не дошла?

— Потому что их на воде накрыли, — ответил комбат. — Четверо, лодка, вышли в час ночи. Их взяли осветительной и накрыли миномётом на середине. Двое доплыли обратно.

Он поглядел на реку.

— Так что берег мы пощупаем первого октября. Все сразу.

Обратно шли молча.

Первым не выдержал Севрюк.

— Товарищ майор, а что ж мы, вслепую пойдём?

— Вслепую и пойдём.

— Дык это ж...

— Севрюк, — Гурьянов остановился. — Ты хочешь, чтоб я тебе сказал, что всё будет по науке?

Капитан молчал.

— По науке было бы так, — произнес комбат. — Сперва разведка, трое суток. Потом артиллерийская подготовка по вскрытым точкам. Потом дымы. Потом переправа передового отряда, потом закрепление, потом основные силы.

Он двинулся дальше.

— А по факту у нас двадцать две лодки на батальон, разведка не прошла, и приказ — в ночь на второе.

— А почему в ночь на второе?

— А потому, что немец сюда каждый день подтягивает по эшелону, — обронил Гурьянов. — И через неделю тут будет вдвое больше того, что мы вчера в бинокль не увидели.

Он шёл, не оборачиваясь.

— Так что мы, Севрюк, не глупее их. Мы просто спешим не от глупости, а от арифметики.

Уже в лесу, у машин, Гурьянов остановился.

— Ковалёв, задержись.

— Слушаю, товарищ майор.

— Пять дней я тебе обещал ещё в Карачеве. Не вышло.

— Понимаю, товарищ майор, — принял я.

— Ни черта ты не понимаешь, — он поглядел на часы. — Бригада получила боевую задачу вчера в двадцать три. Первый батальон — во втором эшелоне переправы, в ночь

на второе октября.

Он помолчал.

— У тебя двое суток, — отрезал он.

А до этого были ещё двое суток на левом берегу, и про них тоже надо сказать, потому что там я увидел то, чего в первой книге моей жизни не было вовсе.

Я увидел, как готовят переправу.

Днём на берегу не было никого. Совсем — ни человека, ни повозки, ни следа. Днём левый берег лежал пустой и мёртвый, потому что всё, что на нём показывалось, накрывали с той стороны в течение четырёх минут.

А ночью он оживал.

Ночью из леса выползало то, что днём стояло под сетками: понтоны на «студебекерах», лодки на подводах, катушки с тросом, штабеля досок. Всё это ползло к воде без огней, и на всём протяжении от опушки до уреза стояли люди, которые шёпотом передавали по цепочке одно и то же слово, чтоб задний знал, где передний.

Я стоял в этой цепочке две ночи.

Не по своей воле — Ляшко послал, потому что рабочих рук не хватало, а я числился при штабе и делать мне было нечего.

Первую ночь мы носили доски.

Вторую конопатили лодки — обыкновенные рыбацьи лодки, свезённые со всех окрестных деревень, разошедшиеся за два года без хозяев. Их конопатили паклей и заливали смо-

лой, и работали в яме, накрытой брезентом, чтоб не было видно огня.

Смолу грели в ведре, и в яме стоял такой чад, что через час у всех текло из глаз.

— Слышь, — окликнул меня сосед, немолодой боец из хозяйственной команды. — А ты не из сапёров ли будешь?

— Из сапёров. Послали вот, рабочих рук не хватает.

— А-а, — он мазнул паклей по щели. — Ну, тут всех послали. Тут у нас и связисты, и артиллеристы, и повар один. Лодок-то полтора ста надо, а мы за неделю сорок сделали.

— А сколько всего есть?

— Дык сколько по деревням нашли. Восемьдесят три, — он выпрямился и потёр поясницу. — А надо полтора ста, а лучше двести.

— И где возьмут?

— А нигде, — обронил он. — Плоты вязать будут. Из бочек и из дверей.

Я перестал мазать.

— Из дверей?

— Из дверей, из ворот, из плетней, — боец поглядел на меня. — Ты, сынок, не морщся. Оно, знаешь, плавает. Я в сорок первом на Соже так переправлялся, на воротах. Двое суток потом уши закладывало, а живой.

Он снова взялся за паклю.

— Ты вот чего лучше запомни, покамест не поздно, — предупредил он. — Как на воду сядешь — гляди не на тот

берег, а в лодку.

— А почему в лодку?

— А потому, что на тот берег глядеть — с ума сойдёшь. Он же не приближается. Ты гребёшь, гребёшь, а он всё такой же, — он затянул щель. — А в лодке дело есть: вычерпывать. Оно, знаешь, помогает.

Работал я эти двое суток так, как не работал даже на хуторе.

Людей мне дали.

Дал их не Гурьянов — дал Ткаченко, по своей воле, объявив взводу, что после занятий, у кого есть силы, идут строить.

Пришло девятнадцать человек из двадцати шести.

Двадцатым пришёл Луконин, и я до сих пор не знаю, откуда он прознал, потому что строить мы начали в одиннадцатом часу вечера и никому не объявляли.

Он появился на второй час, вечером, с топором на плече, встал рядом и обронил:

— Куда таскать? — окликнул он.

— Луконин, тебе-то это зачем? Ты из другого батальона.

— Затем, что ты меня достал, — буркнул он и поплевал на ладони. — Я третью ночь не сплю, всё думаю про твоё «нечестно будет там».

— Я это тебе не говорил, — возразил я.

— Ты Гурьянову говорил, а он мне пересказал. Куда,

спрашиваю?

Строили из подручного.

Кругляк валили тут же, в лесу, — сосняк был жидковатый, зато прямой. Дёрн резали лопатами, квадратами в аршин. Глину носили от старого карьера в двухстах метрах, носили на плащ-палатках по четверо, потому что мне нужен был склон, а склона поблизости не было.

К концу первых суток у нас стоял отрезок обрыва.

Восемь метров по фронту, четыре с половиной в высоту, с глиняной осыпью и с вырубленной наверху траншеей.

Не копия. Никакой копии сделать было нельзя — мы не знали, что там.

Кусок. Один кусок берега, любой.

И вот это «любой» я объяснял людям три раза и судя по тому что я видел, получалось у меня это не особо хорошо.

Человек устроен так, что хочет знать, что он строит. Когда он кладёт стену, ему надо понимать, чей это дом. А тут выходило, что мы двое суток таскаем глину, чтобы сделать нечто, ни на что конкретное не похожее, — и это раздражало сильнее самой работы.

— Товарищ старший сержант, — не выдержал на второй час Кузьмин, самый языкастый в отделении. — А может, всё-таки поточнее? Ну вот хоть по фотографии.

— Нет фотографии.

— Дык у лётчиков есть.

— У лётчиков есть снимок с трёх километров. На нём видно, что берег высокий. Больше ничего.

Кузьмин помолчал.

— Дык это ж мы наугад строим.

— Наугад и строим, — не стал спорить я.

— И чего толку?

— А толк тот, что настоящий берег тоже будет наугад, — ответил я, и кажется он меня понял, потому как больше ничего не сказал и снова взялся за работу.

Люди работали молча и к вечеру первых суток озверели.

Носить глину на плащ-палатке — это, я вам скажу, работа отдельная. Она тяжёлая, она мажется, она лезет во всё, и главное — её надо очень много, потому что глина, которую натащали за час, оседает за ночь на треть.

— Ковалёв, — не выдержал на исходе первых суток Гладышев. — А зачем нам глина? Мы бы из брёвен сложили, оно и быстрее, и стоять будет.

— Из брёвен не годится, — отрезал я.

— А почему не годится?

— Потому что по бревну лезть можно. А по глине нельзя. Он подумал.

— Дык там же тоже глина, — выговорил он наконец.

— Вот именно, — подтвердил я.

Гладышев поглядел на наш недостроенный обрыв.

— А-а, вон оно что, — произнес он и пошёл за следующей

плащ-палаткой, и больше про брёвна не заикался.

Строили мы на опушке, за поворотом просеки, где нас не было видно ни с дороги, ни сверху.

Место я выбирал полдня и выбрал не самое удобное, а такое, где склон карьера уже шёл под нужным углом, — оставалось только нарастить и обмазать.

Работа делилась на три.

Одни валили и подтаскивали кругляк — на нём держался весь костяк, и его вкапывали в грунт с наклоном.

Вторые носили глину.

Третьи резали дёрн и укладывали его поверх глины сверху, по гребню, чтоб не осыпалось.

Дёрн резал Гладышев, и резал так, что я минут пять стоял и смотрел.

Он подрезал квадрат лопатой с трёх сторон, поддевал, отгибал и подрезал снизу — одним движением, не глядя, и квадраты у него выходили одинаковые, как кирпичи.

— Гладышев, ты где так научился?

— Дык на кладбище, — обронил он, не разгибаясь.

— Где?

— На кладбище. У нас в деревне я могилы копал, с тринадцати лет. У нас за это платили.

Он поддел очередной квадрат.

— Ты, товарищ старший сержант, не думай, это работа как работа. Оно, знаешь, лучше, чем в колхозе: три рубля и

обед.

К вечеру двадцать восьмого костяк стоял.

К утру двадцать девятого его обмазали.

А к обеду двадцать девятого пошёл дождь — первый настоящий осенний дождь, мелкий и обложной, — и наша глина поплыла.

Люди стояли и глядели, как двое суток работы медленно сползают вниз.

— Ковалёв, — обронил Ткаченко. — Ну и чего теперь?

Я поглядел на текущий обрыв.

И вдруг засмеялся.

Смеялся я секунд десять, и на меня глядели с явным беспокойством, потому что смеяться тут было решительно не над чем.

— Товарищ старший сержант, вы это... вы чего?

— Ткаченко, а там первого октября что будет?

Он поглядел на небо.

— Дык то же самое, поди.

— Вот именно, — обронил я. — Так что ничего мы не переделываем. Пусть течёт.

Первый заход мы сделали к вечеру двадцать девятого.

Я к тому времени вырубил в осыпи ступеньку — узкую, кривую, на высоте полутора метров.

— Заход первый, — объявил я. — Четвёрка Ткаченко. Пошли.

Прошли за пятьдесят одну секунду.

Хорошо прошли. Ткаченко первым, подсадил второго, второй наверху принял третьего, всё по порядку, всё как отработывали.

Покамест они отдыхали, я эту ступеньку засыпал и вырубил другую — на полметра левее и выше.

— Заход второй, — объявил я.

— Дык мы ж только... — начал кто-то и осёкся, потому что увидел.

— Пошли, не рассуждай.

Прошли за минуту двадцать восемь.

Ткаченко дошёл до осыпи, полез туда, где была ступенька, не нашёл, стал искать глазами, нашёл новую, полез к ней — и потерял на этом тридцать семь секунд.

— Заход третий, — распорядился я, покамест они переводили дух.

Ступенек в этот раз не было вообще.

Прошли за две минуты десять — вчетверо хуже первого раза, на ровном месте, без единого выстрела и без единого немца.

К четвёртому заходу они меня ненавидели.

Я это видел по лицам и по тому, как они перестали переговариваться. Луконин сидел на бревне в стороне и молчал.

Четвёртый заход я сделал подлым.

Ступенька была — та же самая, на прежнем месте. Но осыпь под ней я с ночи подрезал так, что она держала ровно до первого нажима.

Ткаченко полез, ступенька ушла из-под ноги, и он съехал вниз на спине.

Не ушибся. Обиделся.

— Товарищ старший сержант, — не выдержал он, поднимаясь и отряхиваясь. — А так-то за что?

— За то, что там так будет, — отрезал я.

— Да не будет там так! — вскинулся он. — Там берег, а не это!

— Ткаченко, погоди спорить.

— Чего годить-то?

— Ты по глиняной осыпи лазал?

Он замолчал.

— Никогда не лазал, — произнес я. — И никто из вас не лазал. И ни один человек в этой бригаде не знает, как она себя ведёт, когда на неё встанешь мокрым сапогом ночью первого октября.

Он поглядел на обрыв.

— А вы знаете?

— И я не знаю, — признал я. — Я поэтому её и подрезал.

Между четвёртым и пятым заходом я сделал одну вещь, о которой стоит рассказать отдельно.

Я построил их и объявил новое правило.

— С этого часа на обрыве работает голос. Кто первым увидел что-нибудь не то — кричит одно слово. Не объясняет, не рассказывает — одно слово.

— Какое такое слово? — не понял Гладышев.

— Какое подойдёт. Увидел бревно — «бревно». Осыпь поехала — «осыпь». Верёвка не держит — «верёвка».

— Дык а если я не знаю, как оно называется?

— Тогда кричи «стой».

Ткаченко почесал за ухом.

— Товарищ старший сержант, а немец не услышит?

— Услышит, само собой.

Взвод замолчал.

— Услышит, — повторил я. — И это, Ткаченко, вопрос правильный, я его сам себе три ночи задавал.

— И чего надумали?

— Надумал вот что. Ежели ты крикнул одно слово — тебя услышат и, может, положат очередь на голос. А ежели ты промолчал — второй номер полезет туда же, куда ты, и вы ляжете оба.

Я оглядел их.

— Одно слово стоит одной очереди. Молчание стоит двоих.

Никто не возразил.

А через месяц, на правом берегу, это правило вошло в бригаду целиком — не приказом, а само, потому что его переняли соседи, а от соседей другие.

Только тогда его уже называли не по-моему.

Его называли «кричать по-луконински», потому что Луконин со своими начал его применять раньше нас и делал

это громче.

Я потом об этом не жалел ни минуты.

Пятый заход был на следующее утро.

Я к тому времени сделал так: ступеньку оставил, осыпь укрепил, а сверху, в траншее, положил поперёк бревно — так, чтоб вылезающему оно попало под руку и чтоб непонятно было, за что хвататься.

Ткаченко полез первым.

Дошёл до осыпи, встал на ступеньку, поднялся к траншее — и вот тут случилось то, ради чего всё и затевалось.

Он увидел бревно.

И не остановился.

Он не стал разбираться, откуда оно и надёжно ли. Он крикнул одно слово — «бревно!» — и, не хватаясь за него, перевалился через край плечом, лёжа, распределив вес.

А второй номер, услышав это слово, уже полез иначе.

Пятьдесят восемь секунд.

Я стоял внизу с секундомером, и у меня, честно говоря, стояло в горле.

— Стоп, — скомандовал я. — Все сюда.

Они собрались. Мокрые, злые, в глине по локоть.

— Ткаченко, ко мне.

— Слушаю вас.

— Кто тебе велел крикнуть «бревно»?

Он подумал.

— Никто не велел. И не отработывали мы такого.

— Тогда откуда взял?

Ткаченко пожал плечами.

— Дык оно там лежало, — обронил он. — Надо ж было сказать.

Я обвёл их взглядом.

— Вот, — выговорил я. — Вот это и есть то, чему мы учимся.

— Чему? — не понял Гладышев. — Что вы ступеньки прячете?

— Тому, что делать, когда нет ступеньки, — пояснил я.

— И тому, что кричать, когда лежит бревно.

Я поднял секундомер.

— Первый заход — пятьдесят одна, — объявил я. — Пятый — пятьдесят восемь. Разница семь секунд. А во второй раз, когда я убрал ступеньку, было минута двадцать восемь.

Я сделал небольшую паузу.

— Тридцать секунд вы себе вернули за сутки. Ни один из вас не стал сильнее, быстрее и моложе. Вы просто перестали удивляться.

Луконин, стоявший в стороне, оттолкнулся от бревна и подошёл.

— Ковалёв, погоди.

— Чего тебе?

— А если там будет такое, чего мы вообще не придумали?

— Будет, — не стал спорить я. — Обязательно будет. Я

тебе даже больше скажу: то, что я тут делаю, — это ерунда против того, что там будет.

— И что тогда?

— Тогда ты к этому моменту сорок раз попадал в то, чего не придумал. И у тебя на это уже есть привычка.

Луконин поглядел на глиняный обрыв, потом на людей, потом на меня.

— Я своих приведу, — пообещал он. — Завтра.

— Луконин, у тебя батальон другой, — напомнил я.

— А я у Гурьянова спрошу, а Гурьянов у моего комбата, — он закинул топор на плечо. — И вот ещё что, минёр.

— Чего ещё?

— Ты бревно на место не клади, — потребовал он.

— В смысле?

— В смысле не клади там, где мои будут ждать, — ответил Луконин. — Ты его перевесь. И осыпь подрежь. И ступеньку убери.

Он поглядел на меня.

— Мои — не твои. Они у тебя тут не были и ничего не знают. Ты с ними по-настоящему.

Тридцатого пришёл Луконин со своими.

Привёл двенадцать человек — половину роты, и они пришли не как гости, а как на работу: с лопатами и с полным недоверием на лицах.

Я сделал так, как он велел.

Ступеньку убрал совсем. Бревно перевесил на другой ко-

нец траншеи. Осыпь подрезал в двух местах, причём в одном подрезал так, что она держала, а в другом так, что не держала.

И ничего им не сказал.

Первая четвёрка прошла за две минуты сорок.

Вторая — за две пятьдесят, потому что второй номер съехал на спине и утащил за собой третьего.

Третья — за три с лишним, и на третьей у них порвался ремень нагрудника, и человек полез без него, и вот тут Луконин остановил всё.

— Стоп работать.

Все встали.

Он подошёл к обрыву, поглядел на осыпь, потрогал её носком сапога и повернулся к своим.

— Значит, так. Кто мне скажет, отчего Гурин съехал?

Молчание.

— Ковалёв, скажи ты.

— Он на неё встал всей ступнёй, — обронил я. — А надо было носком и сразу переносить вес.

— А почему поехал?

— Потому что она держит нажим, но не держит опору. Она держит полсекунды.

Луконин повернулся к своим.

— Слыхали, чего он говорит?

— Дык откуда ж нам знать, — не выдержал кто-то. — Мы ж по ней первый раз.

— Вот, — обронил Луконин. — Вот и я первый раз. И там тоже будет первый раз.

Он поглядел на обрыв.

— И у нас на это будет одна попытка.

К вечеру тридцатого его люди прошли за минуту пятьдесят.

А ночью, когда мои легли, Луконин остался и сидел у обрыва часа полтора.

Я вышел и сел рядом.

Мы молчали минут десять.

— Ковалёв, скажи мне одну вещь.

— Говори, слушаю.

— А ты когда-нибудь по-настоящему в атаку ходил?

Я подумал.

И решил ответить правду.

— Не ходил ни разу.

— Совсем ни разу?

— Ни разу. Я на поле работал.

Луконин повернул голову.

— И тебе не страшно, что ты нас учишь?

— Страшно, Луконин.

— И правильно, — произнес он. — Мне бы на твоём месте тоже было страшно.

Он помолчал.

— Я тебе вот чего скажу, а ты запомни, потому что второй

раз повторять не буду. Ты учишь правильно, но ты учишь до атаки. А в атаке будет другое.

— Что другое?

— Люди, — обронил Луконин. — Ты их натаскал по осыпи. А там будет мокрый человек, у которого только что на глазах утонула лодка с одиннадцатью, и он полезет по твоей осыпи, и он ничего не будет помнить.

— И что тогда?

— А тогда, — он поднялся. — Тогда его надо звать по имени. Не «второй номер», а по имени. Оно, знаешь, включает.

Гурьянов пришёл в ночь на первое октября.

Пришёл один, без ординарца, встал у нашего глиняного обрыва и минут двадцать смотрел, как двадцать человек в темноте лезут на четыре с половиной метра рыхлой глины, срываются и лезут снова.

Потом подозвал.

— Сколько заходов сделали?

— Двадцать девять, товарищ майор, — доложил я.

— Лучшее сорок четыре, худшее две минуты десять. Двадцать третий заход, я перед ним ночью подрезал верх, и он у них обвалился вместе с первым номером.

Гурьянов помолчал.

— Кто-нибудь пострадал? — уточнил он.

— Двое, — доложил я. — Ушибы. Один рассёк бровь о

корень.

— Много это, — уронил он.

— Товарищ майор, за двадцать девять заходов — двое ушибленных. На объекте это будет один заход.

Он поглядел на меня.

— Я не в укор, — уточнил он. — Я к тому, что мало.

Он повернулся и пошёл к траншее наверху. Постоял там, посветил фонариком вниз, на осыпь. Спустился обратно тем же путём, что и все, и я заметил, что он спустился правильно, боком, тормозя каблуком.

— Ковалёв, погоди.

— Слушаю, товарищ майор.

— Комбриг про твою глину знает.

— Откуда знает?

— От меня. Я вчера докладывал по другому вопросу и упомянул.

Он застегнул планшет.

— Он велел строить такую же в каждом батальоне бригады. Приказ будет завтра.

Я стоял.

— Товарищ майор, спасибо, — выговорил я.

— Не благодари, — Гурьянов поглядел в сторону реки, откуда всю ночь, не переставая, шёл ровный глухой фон. — Строить будет некому.

— А почему некому?

— Потому что приказ переменили в двадцать один ноль-

ноль. Мы идём не во втором эшелоне.

Он поглядел на меня.

— В первом.

Я стоял и молчал.

Внизу, под глиняным обрывом, кто-то опять сорвался и с руганью поехал по осыпи.

— Товарищ майор, — выговорил я. — А сколько у нас средств?

— На батальон — двадцать две лодки и четыре плота.

Я стал считать.

Батальон — это, по укомплектованности, человек четыре-ста с небольшим. Двадцать две лодки по восемь человек — сто семьдесят шесть. Четыре плота — ещё сотня, если грузить как положено, и полторы, если как выйдет.

— Товарищ майор, это половина.

— Это половина, — подтвердил Гурьянов. — Вторая половина пойдёт вторым рейсом, если будет чем.

— А если не будет?

— Тогда первая половина будет держать плацдарм до вечера.

Он застегнул планшет.

— Ковалёв, я тебе сейчас скажу одну вещь, а ты её никому.

— Слушаю вас.

— Я твою глину вижу третий день, — сказал комбат. — И я вижу, что она работает.

Он поглядел вниз, на обрыв.

— И я третий день думаю про то, что мы её начали строить двадцать восьмого. А могли бы двадцатого августа, когда бригаду сформировали.

Он помолчал.

— Восемь дней разницы. И ты меня, Ковалёв, не утешай
— я сам считать умею.

Глава 6

Первого октября с самого утра и до самой темноты лил дождь.

Это было хорошо и плохо одновременно, как всё на этой войне.

Хорошо — потому что немецкая авиация не летала, и потому что с того берега за дождём не видно было, что делается на нашем.

Плохо — потому что к вечеру песок на левом берегу превратился в кашу, и лодки, которые надо было тащить двести метров до воды, шли по этой каше как утюги.

Мы носили их с четырёх дня.

Лодки были все разные, и это оказалось отдельной бедой.

Их свозили со всех окрестных деревень, из тех, где ещё оставались люди, и потому в бригаде набралось всё, что вообще плавает: тяжёлые долблёнки, плоскодонки, две смолёные посудины с высокими бортами, явно рыбацкие, и одна лодка была выкрашена в голубой цвет и называлась «Чайка» — название было выведено по борту белой краской, аккуратно, с завитушками.

Её тащили восемь человек и всю дорогу над ней подшучивали.

— Слышь, а «Чайку»-то кто красил? Ишь, с завитушками.

— Дык хозяин красил, кто ж ещё. Он её, поди, к весне

ГОТОВИЛ.

— А сам-то он где?

Никто не ответил, и разговор смолк сам собой.

Я потом видел эту «Чайку» на том берегу, выброшенную на урез вверх днищем, и название все-равно читалось.

К вечеру дождь пошёл сильнее.

Люди работали в мокром насквозь, и никто уже не пробовал обсушиться, потому что это было бессмысленно. Гимнастёрки стояли колом от глины. У всех текло с носа.

И вот в этом мокром, холодном, беспросветном вечере случилась одна вещь, которую я запомнил.

Часов около шести к нам подошёл старик.

Откуда он взялся, я не понял — деревень поблизости не было, была одна на четыре двора километрах в двух, — но он пришёл, и пришёл не с пустыми руками.

Он тащил на плече весло.

Одно весло, старое, самодельное, с обмотанной тряпкой ручкой.

— Кому весло надо? — окликнул он.

Люди остановились.

— Дед, ты откуда взялся? — не понял кто-то.

— Из Вербовки, — отозвался он и поставил весло стоямя и оперся. — У меня их два было. Одно немец забрал, а второе я в сене прятал два года.

— А лодка твоя где?

— А лодку они пожгли, — ответил старик. — В сорок первом ещё.

Он поглядел на наши лодки.

— Вам ведь весла-то небось не хватает.

Весла не хватало. У нас на батальон было двадцать две лодки и тридцать одно весло, и на трёх лодках гребли досками.

Старшина роты взял весло, повертел, поглядел на лопасть.

— Хорошее весло, — одобрил он. — Дед, ты за него чего хочешь?

— Ничего не хочу, — отказался старик.

— Дык это ж...

— Ничего не хочу, сынок, — повторил старик. — Я его два года берёг, а зачем берёг — сам не знал. Теперь знаю.

Он повернулся и пошёл.

Прошёл шагов десять, остановился и обернулся.

— Вы там, на том берегу, у Вербовки не ищите переправу, — окликнул он. — Там дно худое, там яма.

— А где искать?

— Правее версты на полторы, — показал он. Там брод был до войны, там дно твёрдое.

Старшина поглядел на меня.

Я поглядел на него.

— Дед! — заорал старшина. — Дед, погоди! Ты про это кому-нибудь говорил?

Старик остановился.

— А кому говорить-то?

Через двадцать минут его вели к Гурьянову, а ещё через час — в штаб бригады.

Я не знаю, пригодилось ли то, что он рассказал.

Знаю только, что переправлялись мы всё-таки у Вербовки, потому что приказ был отдан ещё накануне и менять его никто не стал.

По восемь человек на лодку, на плечах, на руках, перехватываясь через каждые тридцать шагов, потому что борта резали ладони.

Восемьдесят три лодки на бригаду.

Двадцать две на наш батальон.

К темноте мы перетаскали половину и вымотались до того, что люди садились в грязь и сидели.

— Ковалёв, поди сюда.

Гурьянов нашёл меня у третьей лодки, где я вязал уключины.

— Товарищ майор.

— Пойдёшь во второй волне.

Я выпрямился.

— Почему во второй, товарищ майор?

— Потому что я так решил.

Он поглядел на реку, невидимую за дождём.

— Ковалёв, ты не спорь. Ты в первой волне бесполезен. Ты через борт не перепрыгнешь и по осыпи первым не пойдёшь. Ты пойдёшь вторым рейсом, с Ляшко, и на том берегу

будешь делать своё.

— Какое своё?

— Проходы, — обронил комбат. — Мины. То, чему тебя три месяца учили.

Он застегнул плащ-палатку под горло.

— Первая волна берёт урез и поднимается. Вторая закрепляется. А ты придёшь и скажешь мне, куда можно ходить, а куда нельзя.

Он повернулся уходить и остановился.

— И вот ещё. Твоя глина.

— Что глина?

— Через неё за трое суток прошло девяносто два человека, — обронил Гурьянов. — Я считал. Из третьего батальона приходили, я не гнал.

Он поглядел на меня из-под мокрого капюшона.

— Девяносто два, Ковалёв. Ты запомни эту цифру. Она тебе потом понадобится.

Перед выходом первой волны Гурьянов собрал командиров.

Собрал в яме под брезентом, где грели смолу, — единственном месте, где можно было зажечь свет.

Их было девять человек: три ротных, шесть взводных. Я стоял у входа, потому что мне там места не было, но и гнать меня никто не стал.

Гурьянов развернул на ящике лист.

Лист был не карта — карты правого берега у нас не было, была схема, начерченная от руки по данным наблюдения.

— Слушать сюда, — начал он. — Задача батальона: захватить урез в полосе шириной четыреста метров и подняться на нижний ярус.

Он показал карандашом.

— Ориентиры. Слева — устье оврага, его видно даже ночью, он чёрный. Справа — вон та коса, она белая, песчаная. Между ними идём.

— А ежели снесёт? — подал голос Севрюк.

— Снесёт обязательно, — подтвердил комбат. — Течение полтора метра в секунду, за семьсот метров вас снесёт на двести-триста вниз.

— И как тогда быть?

— Выходите, где вышли, и идёте вдоль берега к оврагу.

Он положил карандаш.

— И вот тут главное, и я это скажу один раз. Никто никого не ждёт на воде.

Все замолчали.

— Ежели соседнюю лодку накрыло, вы гребёте дальше, — обронил Гурьянов. — Не разворачиваетесь, не подбираете, не ищите. Гребёте.

— Товарищ майор... — начал кто-то.

— Я знаю, что вы сейчас думаете, — не дал он договорить. — Вы думаете, что это подло. Я тоже так думал в сорок первом.

Он оглядел их.

— А теперь я вам скажу арифметику. Лодка, которая развернулась на воде, стоит боком и не движется. По ней попадают через сорок секунд. Значит, вместо одной утонувшей лодки будет две.

Он свернул схему.

— Подбирать будут с левого берега, после, — пообещал он. — Я это организую. Даю вам слово.

Он поглядел на меня, стоявшего у входа.

Я кивнул.

Первая волна пошла в двадцать три сорок.

Я стоял у воды и смотрел, как они уходят.

Это было не так, как я представлял.

Я думал, что будет шум: команды, всплески, скрип уключин. А было почти тихо — тише, чем на любых занятиях.

Люди садились в лодки молча. Молча отталкивались. Молча гребли, обмотав уключины тряпками, и через тридцать метров лодка растворялась в дожде и темноте, и оставался только звук — короткий равномерный плеск, который тоже быстро пропадал.

Двадцать две лодки уходили девять минут.

Я стоял и считал их — по привычке, потому что руки были свободны, а голову надо было чем-то занять.

Двадцать две.

Я потом сообразил, что за эти девять минут ни разу не

подумал ни о ком конкретном. Я считал лодки, а не людей, и это, вероятно, единственный способ простоять такие девять минут и не сойти с ума.

Гурьянов стоял метрах в десяти правее и делал то же самое.

Я это понял по тому, как он шевелил губами.

Ткаченко ушёл на седьмой.

Взвод его садился в две лодки, и садились они так, как мы отработывали на берегу: не толпой, а по номерам, и последним садился второй номер, потому что ему потом первому вылезать.

Никто им этого не приказывал. Они просто так делали уже неделю. Он прошёл мимо меня к урезу, поправил на груди нагрудник, поглядел на меня и обронил:

— Товарищ старший сержант, вы там за взводом-то приглядите, — попросил он.

— Пригляжу, не сомневайся.

— Не за тем, чтоб порядок. А чтоб их не разбросали по ротам.

— Не разбросают, — пообещал я.

Он кивнул и полез в лодку.

Луконин ушёл первым рейсом, но не от нас, а от своего батальона, с левого фланга, и мы с ним не простились.

Гладышев ушёл девятым.

Он проходил мимо, остановился и вдруг сунул мне в руку

что-то маленькое и тёплое.

— Это чего у тебя? — не понял я.

— Дык подержите покамест.

Я разжал ладонь уже потом, когда он ушёл.

Там лежал напёрсток — обыкновенный женский напёрсток, латунный, стёртый до блеска с одного бока.

Я стоял с ним под дождём и соображал, зачем.

И сообразил только к утру: он его не мне отдавал на память. Он его отдавал, чтоб не утопить.

Человек, идущий на воду, снимает с себя всё, что может утонуть, и отдаёт тому, кто остаётся. Так делали все, я потом это видел сотни раз: письма, фотографии, часы, документы — всё это остаётся на левом берегу, и всё это потом кому-то возвращают или не возвращают.

Я его так и не вернул, потому что случая не вышло.

Первые двадцать минут было тихо.

Потом на том берегу поднялась ракета.

Она встала высоко и повисла, и я в первый раз увидел Днепр целиком — семьсот метров чёрной воды в белом свете, и на этой воде десятки чёрных точек, растянутых широкой дугой, и все они шли к правому берегу.

Они были в трёхстах метрах от него.

А потом всё началось.

Про то, что было следующие сорок минут, я рассказывать не берусь, потому что я стоял на левом берегу и видел это

со стороны, а со стороны такое выглядит совсем не тем, как оно было на самом деле.

Со стороны это выглядело красиво.

Правый берег осветился по всей длине — вспышками, короткими и частыми. По воде пошли фонтаны, и фонтаны были маленькие, аккуратные, будто в реку кидали камешки.

Между фонтанами шли лодки.

Некоторые останавливались и оставались стоять на месте, и я не сразу понял, что это значит, а когда понял, у меня похолодели руки.

Ракеты вешали одну за другой, и в промежутках наступала полная темнота, и в темноте с реки шёл звук, которого я до того не слышал ни разу.

Кричали на воде.

Кричали далеко, метров за четыреста, и голоса шли по воде без всякого искажения — так, будто человек кричал в двадцати шагах.

Рядом со мной стоял Ляшко.

Он стоял неподвижно, в мокрой шинели, и всё время протирал ладонью лицо, хотя это не помогало, потому что дождь шёл не переставая.

— Товарищ капитан.

Он не ответил.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться, — окликнул я.

— А? — он повернулся. — Да. Что?

— Разрешите взять четверых и выйти на воду. С шестами и с верёвкой.

— Это зачем ещё?

— Людей подбирать.

Ляшко поглядел на меня, и я увидел, что он ничего не соображает — совсем, вообще, что он стоит тут третий час и что у него внутри всё выключилось.

— Не разрешаю, — обронил он.

— Товарищ капитан, там люди в воде, — не отступил я.

— Не разрешаю, Ковалёв, — отрезал он. — У нас средства ограничены. Каждая лодка учтена.

Он снова стал глядеть на реку.

Я постоял секунд десять.

Потом пошёл вдоль берега, нашёл старшину роты — того самого, с ключами, — и объяснил ему в трёх словах.

Он выслушал, поглядел на реку и молча пошёл со мной.

Мы взяли четверых из хозяйственной команды, две лодки из тех, что готовили на второй рейс, шесты, верёвку и багор.

И вышли.

Про эти два часа я вспоминаю чаще, чем про многое другое.

Мы не гребли к тому берегу. Мы шли вдоль, метрах в двухстах от нашего, поперёк течения, и высматривали.

Течение сносило всё вниз, и всё, что было на воде, рано или поздно оказывалось в нашей полосе.

Дождь к тому времени стих, и это оказалось хуже: над во-

дой встал туман, и в тумане не было видно ничего дальше двадцати метров.

Мы шли на слух.

Гребли по трое, четвёртый стоял на носу с багром и слушал.

Слушать надо было не крик — крик слышен и так. Слушать надо было другое: плеск, который не похож на волну.

Волна на реке плещет ровно и в одном ритме. А человек в воде плещет неровно, коротко, с задержками, и этот звук ни с чем не спутаешь, если раз услышал.

Мы вытащили одиннадцать человек.

Из них четверо были живые.

Первого мы взяли на двадцатой минуте — он держался за весло и был уже почти без сознания, и когда его вытащили в лодку, он вцепился в борт так, что потом разжимали вдвоём.

Второго и третьего вытащили вместе — они держались друг за друга, и один был ранен, и второй его держал.

Четвёртого нашли по звуку.

Он не кричал. Он свистел — тонко, коротко, с перерывами, — и я потом узнал, что он свистел час двадцать, потому что кричать уже не мог.

Ему было девятнадцать лет, он был из третьего батальона, и я его больше никогда не видел.

Остальных семерых мы тоже подняли.

Их поднимали потому, что оставлять на воде нельзя, и потому, что старшина обронил: «Не бросим, ребята, они ж по-

том вниз уйдут».

Уже к концу, часам к трём, мы наткнулись на лодку.

Она шла кверху днищем, медленно, кормой вперёд, и её несло вниз по течению.

Мы подошли и стали её обходить.

И вот тут человек на носу — молодой боец из хозяйственной команды, фамилии не помню — вдруг сказал:

— Стучит там, — выдохнул он.

Все замерли.

Под днищем стучало.

Не ровно, не как о борт, а короткими сериями по три-четыре удара, и между сериями были длинные паузы.

Он был там уже часа полтора. Под перевёрнутой лодкой остаётся воздух, и в этом пузыре человек может продержаться очень долго, если не запаникует и не начнёт нырять наружу.

Он не запаниковал. Он сообразил, что воздух под днищем есть, и остался в нём.

Мы перевернули лодку в четыре руки, и он вывалился в воду, и мы его подняли, и он не мог говорить минут пять, а потом первое, что сказал, было:

— Я стучал по три, — выговорил он. — По три и жду. Я думал, вы поймёте, что не само.

Звали его Аникеев Пётр, был он из третьего батальона, и он потом дошёл до Германии.

Я это знаю, потому что он мне писал.

К четырём утра с того берега пришло известие.

Пришло не по радио — радио утонуло вместе с лодкой, — а пришёл человек.

Он приплыл обратно.

Семьсот метров, в форме, без нагрудника, который он сбросил в воде, и приплыл он не потому, что струсил, а потому, что его послали.

Его вытащили метрах в двухстах ниже по течению, и он полчаса не мог говорить, а потом сказал.

Первая волна зацепилась.

Не вся. Из двадцати двух лодок батальона до того берега дошли одиннадцать. Из четырёхсот человек первого рейса на правый берег вышли около ста семидесяти, и из них примерно тридцать были ранены.

Они взяли урез в двух местах и поднялись на средний ярус в одном.

И держались.

— Кто там старший? — спросил Гурьянов.

Пловец сидел на песке, завёрнутый в три шинели, и его трясло так, что стучали зубы.

— Капитан Севрюк, — доложил он. — Живой, ранен в руку, командует.

— А Луконин?

Пловец помотал головой.

— Не знаю, — помотал он головой. — Первый батальон левее нас, метров на четыреста. Мы с ними не сошлись.

Гурьянов повернулся ко мне.

— Ковалёв, слушай сюда.

— Слушаю, товарищ майор.

— Вторым рейсом пойдёшь первым, — скомандовал он и больше не говоря ни слова ушел.

Перед вторым рейсом Гурьянов подошёл ко мне сам.

Он был мокрый насквозь, небритый третьи сутки, и от него пахло смолой.

— Ковалёв, погоди.

— Слушаю вас.

— Ты ночью на воду выходил.

Я молчал.

— Кто разрешил?

— Никто, товарищ майор.

— Ляшко тебе запретил.

— Так точно.

Гурьянов помолчал.

— Сколько вытащили?

— Одиннадцать. Живых пятеро, с последним.

Он поглядел на реку, над которой уже начинало сереть.

— Значит, так, — обронил он. — Официально: я тебе за самовольство объявляю выговор. Устно. Ляшко я скажу, что вопрос закрыт.

— Есть выговор, товарищ майор.

— А неофициально...

Он замолчал и минуты полторы глядел на воду.

— Я им вчера в яме дал слово, что подбирать будут, — выговорил он наконец. — Дал слово девяти командирам, и они его своим людям передали. А организовать это я не мог, потому что у меня все лодки под второй рейс, и я это знал, когда обещал.

Он поглядел на меня.

— Так что ты нынче ночью не за себя работал. Ты за меня работал, — добавил он, а затем посмотрел на меня таким взглядом, что у меня сердце кольнуло.

В мое время о таких людях говорили «Дединсайд» или по нашему «Мертв внутри».

Вот именно такой взгляд у него и был.

Мы пошли в шесть утра, в темноте перед рассветом.

Одиннадцать лодок и два плота из бочек — всё, что осталось на батальон.

Я сидел на носу третьей лодки и вычерпывал воду каской, потому что лодку мы законопатели в спешке и она текла.

И вот тут я вспомнил того немолодого бойца из ямы под брезентом.

«Как на воду сядешь — гляди не на тот берег, а в лодку. На тот берег глядеть — с ума сойдёшь. Он же не приближается».

Он не приближался.

Мы гребли, и гребли восемь человек, и лодка шла, и это было слышно по звуку воды под носом. А берег стоял на ме-

сте.

Я вычерпывал.

Каска входила в воду на дне, зачерпывала литра полтора и выливалась за борт, и я делал это, наверное, раз двести, и это было единственное, что удерживало меня от того, чтоб поднять голову.

Ракету повесили на середине.

Я поднял голову, потому что не поднять было невозможно.

Берег был в трёхстах метрах.

Он стоял стеной — чёрной, мокрой, отвесной, — и по всей его высоте не было видно ни одного человека, ни одной вспышки, ничего.

А внизу, у самой воды, лежали лодки.

Не плыли — лежали. Штук пять или шесть, выброшенные на урез, перевёрнутые, и рядом с ними что-то темнело на песке.

— Не глядеть! — заорал старшина роты с кормы, перебивая всё. — Не глядеть, я сказал! Грести!

Мы гребли.

По нам начали бить на двухстах метрах.

Первая очередь прошла высоко — я слышал, как она ушла куда-то за спину, в воду. Вторая легла по воде впереди, и по борту защёлкало.

Кто-то на корме коротко вскрикнул и замолчал.

— Сильней! — надрывался старшина. — Сильней, брат-

цы! Тут уже близко! Тут уже вода мелкая!

Вода была не мелкая. До дна было метров пять.

Он врал, и врал правильно, потому что человеку нужно знать, что мелко.

На сотне метров нас развернуло.

Не от попадания — от того, что двое на левом борту перестали грести одновременно, и лодку понесло боком.

Я бросил каску и полез на их место.

Что было дальше, я помню плохо и не по порядку.

Помню, как схватился за весло, которое было мокрое и не держалось в руках.

Помню, как рядом сел старшина и стал грести вторым, и как мы с ним попали в такт с третьего гребка.

Помню, как днище чиркнуло по песку.

И помню, как я перевалился через борт в воду, которая оказалась по грудь и ледяная, и как эта вода вышибла из меня весь воздух.

Мы вышли на урез в шесть сорок.

Из одиннадцати лодок дошли восемь.

Урез был шириной метров в пять — узкая полоса мокрого песка с галькой, и на ней уже лежало то, что осталось от первой волны.

Я не буду это описывать.

Скажу только, что по этой полосе надо было идти, потому что другой не было, и что все шли, и что никто не глядел под

ноги дольше, чем требовалось, чтобы не споткнуться.

А ещё скажу, что там было холодно.

Вот этого я не ожидал совсем.

Я думал, что на войне бывает страшно, тяжело, больно — я был ко всему этому более или менее готов. А оказалось, что первое и самое сильное ощущение на захваченном плацдарме — это холод.

Мы вышли из воды в шесть сорок утра второго октября. Температура была градусов восемь. Мокрые все с головы до ног, ветер с реки, и укрыться негде, потому что весь берег простреливается сверху.

К восьми утра у меня зуб на зуб не попадал, и у всех остальных тоже, и это мешало работать сильнее, чем немец.

Гладышев, найденный мной на урезе живым и целым, сидел под обрывом и трясся так, что я решил, что он ранен.

— Гладышев, куда тебе попало?

— Н-никуда не п-попало. Х-холодно просто.

Он поглядел на меня и вдруг обозлился.

— Т-товарищ старший сержант, я на к-кладбище в январе к-копал! В м-мороз! И не т-тряс-ся!

— В январе ты сухой был.

Он подумал.

— В-верно, — согласился он и перестал злиться.

Дальше начиналась осыпь.

И вот тут, стоя по колено в воде, под берегом, который

поднимался надо мной на сорок метров, я в первый раз за трое суток порадовался тому, что мы двое суток таскали глину.

Потому что она была точно такая, как на моем макете.

Не похожая — точно такая же. Мокрая рыжая глина с песчаными прослойками, которая держит нажим и не держит опору, и по которой надо идти носком, сразу перенося вес.

Я это знал.

И девяносто два человека, прошедшие через наш обрыв, тоже это знали.

— Первое отделение — за мной! — заорал кто-то слева, и я узнал голос Ткаченко. Он был живой, и у меня внутри что-то отпустило.

— Ткаченко, ты живой?!

— Тут я, живой!

— Держи левее! Там осыпь сухая, она поедет!

— Понял, беру левее!

Он не спросил, откуда я знаю.

Он просто взял левее, и его отделение пошло за ним, и они прошли.

Первый ярус мы взяли к семи.

Не мы — те, кто пришёл первой волной; они его взяли ещё ночью и держали шесть часов. Мы просто поднялись к ним.

Немецкая траншея нижнего яруса шла вдоль склона метров на двести и была вырыта на совесть.

Полный профиль, стенки укреплены плетнём из лозы, дно

выложено жердями, чтоб не разъезжалось. Через каждые двадцать метров — ниша, в нише сухо и лежит солома.

Я потом много раз видел немецкие траншеи и всякий раз думал одно и то же: они копают, как строят дом.

Наши копают как могут и сколько дадут времени.

В нишах ещё оставалось ихнее: пустые консервные банки, сложенные аккуратной стопкой, обрывок газеты, чей-то шерстяной носок, аккуратно заштопанный на пятке.

И на стенке одной из ниш, выцарапанное чем-то острым, стояло имя и дата: «Willi 6.43».

Кто-то из наших уже пририсовал под ним матерное слово по-русски.

Севрюк сидел в третьей нише от края, привалившись к стенке, с рукой на перевязи из чужой рубахи.

Он был серый.

— Ковалёв? — не поверил он, подняв голову. — Ты откуда?

— Второй рейс, товарищ капитан, — доложил я.

— Сколько вас?

— Восемь лодок дошло, — доложил я. — Человек шестьдесят.

Он закрыл глаза.

— Шестьдесят, — повторил он. — Ну хоть шестьдесят.

Он открыл глаза и поглядел на меня.

— Ты сапёр?

— Так точно.

— Тогда слушай сюда, — потребовал он. — И слушай внимательно, потому что я это тебе один раз скажу.

Он подтянулся выше по стенке.

— Мы тут с ночи, — начал он. — Мы взяли нижний ярус и подняться выше не можем.

— А почему не можете?

— Потому что там наверху проволока, а перед проволокой поле, — Севрюк мотнул головой вверх. — Мы туда трижды ходили. Первый раз восемь человек, второй раз шесть, третий раз четверо.

— И что вышло?

— И никто не дошёл.

Я поглядел вверх.

Отсюда, из траншеи, было видно метров на двадцать — дальше склон шёл круче и всё закрывал.

— Товарищ капитан. А ходили как?

— Что «как»?

— По какому месту?

Севрюк здоровой рукой показал.

— Вон там ложбинка, — показал он. Она единственная, где можно подняться без верёвки, там уклон поменьше.

Я поглядел на ложбинку.

И почувствовал, как у меня внутри становится очень холодно и очень спокойно — так, как бывало на дуге, когда всё сходилось.

— Товарищ капитан, а больше нигде подняться нельзя?

— уточнил я.

— Нельзя, — отрезал он. — Там везде сорок пять градусов и глина. Только по ложбинке.

— И вы это увидели сразу?

— Сразу, — Севрюк поморщился. — Она ж как приглашение. Единственное место на весь склон.

Я сел на дно траншеи рядом с ним.

— Товарищ капитан, не ходите туда больше, — попросил я.

Он поглядел на меня.

— Ковалёв, у меня приказ подняться на средний ярус.

— Я знаю.

— И у меня наверху сидит немец, который меня к обеду сбросит в воду, ежели я не поднимусь.

— Знаю, товарищ капитан.

— Так что ты мне предлагаешь?

— Товарищ капитан, а сколько раз вы туда ходили?

— Трижды, — повторил он. — Я же сказал.

— И все три раза по ложбинке?

Севрюк поднял на меня глаза.

И я увидел, как до него доходит.

— Ковалёв, — выговорил он. — Ты хочешь сказать, что она...

— Я хочу сказать, что она у вас единственная. И что это вам не я сказал, а тот, кто её оставил.

Он молчал секунд десять.

— Она там была всегда, — возразил он наконец. — Это же природная ложбина, её вода промыла.

— Промыла вода, — не стал спорить я. — А кто мешал её засыпать?

Севрюк не ответил.

— Товарищ капитан, они тут с весны. У них было полгода. Они этот склон утюжили лопатами вдоль и поперёк. Ежели бы им ложбинка мешала — они бы её за неделю срыли.

Я поглядел вверх.

— Она им не мешала. Она им была нужна.

Севрюк здоровой рукой потёр лицо.

— Двадцать два человека, — уронил он. — Я туда положил двадцать два человека за шесть часов.

— Товарищ капитан...

— Не надо, Ковалёв. Не утешай, — он выпрямился у стенки. — Ты мне лучше скажи, что делать. У меня приказ подняться, у меня половина людей и у меня наверху немец, который к обеду начнёт нас сбрасывать.

Я поглядел на глиняную стену — на сорок метров мокрой рыжей глины с песчаными прослойками, по которой без верёвки не пройти.

Ту самую, которую мы двое суток таскали на плащ-палатках.

— Лезть там, где нельзя, — отозвался я.

Севрюк уставился на меня.

— По склону? В сорок пять градусов, по глине, под ог-

нём?

— Так точно.

— Ковалёв, это невозможно.

— Возможно, товарищ капитан, — возразил я. Мы это трое суток отрабатывали.

Он молчал.

— Кто «мы»?

— Второй взвод третьей роты. И четвёртая рота первого батальона, двенадцать человек. И ещё девяносто два человека из тех, кто ходил на наш обрыв в свободное время.

Севрюк долго на меня смотрел.

— Какой обрыв?

— Мы его в лесу построили, — пояснил я. — Из глины. Четыре с половиной метра.

— Четыре с половиной, — повторил он. — А тут сорок.

— Тут сорок, — согласился я. — Но глина та же самая.

Глава 7

Севрюк дал мне два часа и восемнадцать человек.

Два часа — потому что больше у него не было: по всем расчётам немцы должны были начать сбрасывать нас в реку к полудню, и он это знал, и я это знал, и мы оба про это не говорили.

Восемнадцать человек — потому что больше в батальоне на ходу не оказалось.

Из них девять были из моего бывшего взвода, шестеро — из первой роты, и трое пришли сами, из хозяйственной команды, которых никто не звал и которых Севрюк не стал прогонять.

Я собрал их под обрывом, в мёртвой зоне, где не доставали сверху.

— Слушать сюда, — начал я. — Задача: подняться на средний ярус. Не по ложбине.

— А где ж тогда? — не понял кто-то из первой роты.

Я показал ладонью на глиняную стену за спиной.

Люди поглядели.

И минуты полторы молчали.

— Товарищ старший сержант, — выговорил наконец тот же голос. — Дык там сорок метров.

— Тридцать восемь, — поправил я.

— Дык всё одно. И глина там.

— Глина, верно.

— И под огнём.

— Под огнём не будет, — возразил я. — В этом всё и дело. Они устали на меня.

— Соображайте сами, — велел я. — Ложбинка простреливается. Она у них пристреляна, там пулемёт стоит и ждёт, и он ждёт уже полгода. А склон не простреливается.

— А почему не простреливается?

— Потому что с гребня склон под собой не виден. Обрыв в сорок пять градусов — это мёртвая зона на всю высоту. Чтоб по вам стрелять, немцу надо высунуться из траншеи по пояс и глядеть вниз.

Ткаченко приподнялся.

— А он высунется.

— Высунется, — не стал спорить я. — Один раз. И его после этого снимут, потому что мы снизу его увидим раньше.

Я оглядел их.

— Вопрос не в том, будут ли по нам стрелять. Вопрос в том, дойдём ли мы по глине.

— А дойдём? — усомнился Гладышев.

— Не знаю.

Я это сказал честно и, кажется, правильно, потому что после этого они перестали переглядываться.

Готовились сорок минут, и эти сорок минут были, пожалуй, самой странной работой в моей жизни.

Потому что мы готовились к тому, чего никто до нас не

делал.

Я в первой жизни лазал по скалам — не всерьёз, а как лазают в отпуске, с инструктором и в кроссовках. И даже того немногого, что оттуда осталось, хватало, чтоб понимать: то, что мы собираемся сделать, в мирное время назвали бы преступной глупостью.

Тридцать восемь метров мокрой глины. Без снаряжения. Восемнадцать человек, из которых лазал разве что Гладышев, и то по крыше.

И при этом альтернативой была ложбина, в которой лежало двадцать два человека.

— Товарищ старший сержант, — окликнул Кузьмин, разбирая верёвку. — А вы такое где-нибудь видали?

— Нигде не видал.

— И не слышали?

— И не слышал.

Он помолчал, распутывая узел.

— А чего ж тогда лезем?

Я поглядел на него.

Кузьмин был из тех, кто спрашивает не из страха, а из порядка: ему надо было понимать, во что он ввязывается, и это было правильное свойство.

— Затем, Кузьмин, что оно нигде не написано. Ни у нас, ни у них.

— И чего?

— И того, что немец наверху тоже не читал. Он держит

то, что в наставлении названо направлением, доступным для наступающего. А это склон, и в наставлении он назван недоступным.

Кузьмин обдумал.

— Стало быть, мы лезем туда, куда по книжке нельзя.

— Стало быть.

— А ежели книжка права?

— Тогда мы съедем, — обронил я. — И вернёмся, и будем думать дальше. Оно, Кузьмин, не как в ложбине: со склона можно съехать и остаться живым.

Вот это, кажется, и убедило их окончательно.

Потому что до того они думали, что я предлагаю им новый способ погибнуть. А тут выяснилось, что я предлагаю способ попробовать.

Первое, что я сделал, — послал двоих вдоль уреза искать верёвку.

Верёвка на плацдарме была на вес золота: всё, что привезли, ушло на переправу, а из тех восьми лодок, что дошли, шнур сохранился на трёх.

Собрали сто двадцать метров, из них половину — обрывками по десять-пятнадцать.

Обрывки я велел связывать.

— Товарищ старший сержант, а на узлах-то оно держать не будет, — засомневался Кузьмин.

— Будет, — заверил я, — ежели вязать правильно.

— А правильно как?

Я показал.

И вот тут я в первый раз за трое суток порадовался тому, что за лето перечитал у Прохорова в тетради всё, что он туда переписывал, включая раздел про такелаж, который туда попал случайно и который я тогда читал от скуки.

Второе — колья.

Их не было, и брать их было негде: на плацдарме росли три куста, и все три были ободраны в первую ночь.

Взяли то, что нашлось: обломки вёсел, немецкие лопаты из траншеи, четыре кола от их же проволочного заграждения, вырубленные из нижнего яруса.

Вышло девятнадцать штук.

Третье — я обошёл склон по низу и выбрал место.

Это заняло полчаса, и это было главное, что я сделал в тот день.

Склон шёл не ровной стеной. Он шёл волной: где-то круче, где-то положе, и через каждые десять-пятнадцать метров попадались уступчики — крохотные, в ладонь, там, где глина легла на песчаную прослойку и та её удержала.

По этим прослойкам он и читался.

Песок в глине идёт горизонтальными слоями, и на срезе они видны как более светлые полосы. Там, где полоса выходит наружу, глина над ней держится, а под ней — течёт.

Значит, идти надо от полосы к полосе.

Не по прямой, а зигзагом, от одного песчаного уступа к другому, и на каждом — бить кол и крепить верёвку.

Я нашёл семь таких уступов.

Семь на тридцать восемь метров, и расстояния между ними были неровные: от четырёх метров до девяти.

Девять метров без опоры — это много.

— Товарищ старший сержант.

Ткаченко подошёл и стал рядом, разглядывая склон.

— Чего тебе, Ткаченко?

— Вон там, на середине. Видите, тёмное пятно?

Я поглядел.

Метрах в двадцати вверх по склону было пятно — тёмнее остальной глины, размером с телегу.

— Вижу пятно.

— Это чего такое?

— Там вода идёт. Родничок или просто выклинивание.

— И как оно?

— Плохо дело, — уронил я. — По мокрому не пройдем, оно поедет.

Ткаченко подумал.

— А обойти?

— Обойдем, — прикинул я. — Только обходить придётся вправо, а вправо — это ближе к ложбине.

— Насколько ближе?

Я прикинул.

— Метров на двадцать.

Мы поглядели друг на друга.

Двадцать метров ближе к ложбине означало, что верхняя

часть подъёма выходит в зону, которую немец с гребня всё-таки видит.

— Товарищ старший сержант, — произнес Ткаченко. — А может, по мокрому попробовать? Ну хоть один человек.

— Не полезем, — отрезал я.

— Дык вы ж сами говорили: лезть там, где нельзя.

Я повернулся к нему.

И понял, что он поймал меня на слове, и поймал совершенно справедливо.

— Ткаченко, слушай сюда.

— Слушаю.

— Я говорил: лезть там, где нельзя по мнению немца. А не там, где нельзя по физике.

Он потоптался.

— Дык а как отличить-то?

Вот на этот вопрос я потом отвечал себе полтора года и, кажется, так до конца и не ответил.

— По цене, — подытожил я. — Ежели нельзя, потому что кто-то так решил, — там можно и надо. А ежели нельзя, потому что оно поедет, — там нельзя.

Пошли в девять сорок.

Первым шёл я.

Не из храбрости и не потому, что командир. Потому что я один знал, куда смотреть.

Я шёл с двумя кольями за поясом, с молотком и с концом верёвки, привязанным к поясу же, — и второй конец держа-

ли внизу четверо.

Первые четыре метра дались легко.

Там был почти песок, и он держал, и я прошёл их в три приёма, ставя ногу носком и сразу перенося вес — точно так, как учил всех на нашем обрыве.

На первом уступе я вбил кол.

Кол вошёл на две трети и дальше не пошёл — упёрся во что-то плотное.

Я на нём повис всем весом, подёргал, попрыгал. Держал.

— Есть первый! — окликнул я вниз. — Первый есть! Второй пошёл!

Вторым шёл Ткаченко.

Он поднялся ко мне за две минуты, и по тому, как он шёл, я понял, что трое суток на глине не пропали даром: он ни разу не встал на всю ступню и ни разу не попробовал схватиться рукой за глину.

Дальше пошло медленнее.

Второй участок был шесть метров и круче. Я лез на четвереньках, вбивая нож перед собой и подтягиваясь, и один раз поехал — сантиметров на сорок, — и меня удержала верёвка, которую снизу выбрали в две руки.

На втором уступе я вбил второй кол.

— Есть второй!

К одиннадцати мы были на двадцати двух метрах.

Половина.

И вот тут началось то, чего я не предусмотрел.

Пошёл дождь.

Не сильный — морось, та самая, что шла второй день. Но на глине хватило и её.

Склон под руками стал меняться на глазах. То, что десять минут назад держало, начало ползти. Уступы, на которых мы стояли, из плотных превратились в кашу.

— Ковалёв! — заорал снизу Кузьмин. — Ковалёв, тут поехало!

— Держи верёвку! — заорал я вниз.

— Держу! Она у меня из кола вылезит!

Я поглядел вниз.

Второй кол, вбитый мною сорок минут назад в плотную глину, теперь торчал из размякшего склона и медленно, на глазах, вываливался.

На нём висело три человека.

Дальше было секунд двадцать, за которые я принял три решения, и все три оказались правильными, и я до сих пор не знаю почему.

— Всем встать на носки! — скомандовал я. — Не садиться! Вес на носок!

Это было первое.

Человек, который чувствует, что едет, инстинктивно садится — переносит вес на пятки и на зад, чтоб ниже. А на глине это худшее, что можно сделать: пятка режет размякший слой и уходит.

Внизу перестали ёрзать.

— Ткаченко! Бей кол выше! Где сухо!

Это было второе.

Он полез на два метра выше, туда, где склон прикрывал нависающий козырёк и куда дождь не доставал, и вбил там свой кол, и вбил хорошо.

— Есть, вбил!

— Перецепляй верёвку! По одному!

Это было третье.

Они перецепились за минуту сорок, все восемнадцать, ни разу не столкнувшись, и я в тот момент понял, ради чего мы двое суток таскали глину на плащ-палатках.

Не ради того, чтобы научиться лазать.

Ради того, чтобы, когда поедет, никто не сел.

К половине первого мы вышли на пятый уступ.

Тридцать метров. Оставалось восемь.

И тут нас увидели.

Сперва наверху, над самым гребнем, показалась голова — на секунду, не больше. Потом исчезла.

— Видели его? — прошипел Ткаченко.

— Видел. И он нас тоже.

Я поглядел вверх, на оставшиеся восемь метров.

Восемь метров — это минуты четыре при такой глине. А им, чтоб перебросить сюда пулемёт из ложбины, нужно минут пять.

— Ткаченко, слушай.

— Слушаю вас.

— Скажи вниз: пусть трое остаются на пятом и держат верёвку. Остальные навверх, за мной, в темпе. Не по одному, а сразу все.

— Дык мы ж друг на друга поедем!

— Поедем. Зато дойдём.

Мы прошли эти восемь метров за три минуты сорок.

Дважды на меня съезжали сзади. Один раз я съехал сам и повис на верёвке, и меня втащили за шиворот.

За полтора метра до верха я упёрся в проволоку.

Один ряд, на низких кольях, натянутый по самому краю обрыва.

Она была старая и ржавая, и это было хорошо, потому что старая ржавая проволока режется ножницами, а ножницы у меня были.

Я разрезал её в трёх местах, и мы вылезли.

Я вылез первым и первое, что увидел, была немецкая траншея в четырёх метрах.

Пустая.

Она была пустая по всей длине, насколько её было видно, — и лежали в ней две пустые пулемётные ленты, окурки и брошенная каска.

Они ушли отсюда.

Они держали ложбину, вот в чём было дело. Они полгода готовили ложбину, они шесть часов расстреливали в ней людей Севрюка, и они держали там всё, что у них было на этом участке.

А сюда, на средний ярус, они посадили одного наблюдателя.

Того самого, чья голова показалась над гребнем.

Он оказался мальчишкой лет девятнадцати и он один сидел в двухстах метрах траншеи.

Он не стрелял.

Он мог — у него была винтовка, и он мог с двухсот метров положить нас всех по очереди, покамест мы висели на верёвке.

Он этого не сделал.

Его взяли живым, и он сидел на дне траншеи, и его трясло, и он всё время повторял одно и то же слово, которого никто из нас не понимал.

Потом пришёл человек, знавший немецкий, и перевёл.

Он повторял: «Один. Я один».

Наблюдателя привели ко мне через десять минут.

Его вели двое, и вели неловко: он не сопротивлялся, но и не шёл — переставлял ноги, куда толкали, и всё время оглядывался на свою траншею, будто там осталось что-то важное.

Ткаченко подтолкнул его в спину, и он сел на дно.

— Товарищ старший сержант, чего с ним делать? — не понял он.

Я поглядел на пленного.

Ему было лет девятнадцать. Худой, с длинной шеей, в шинели не по росту, с обгрызенными ногтями — я это заметил, потому что он всё время держал руки перед собой.

— Ничего покамест, — отмахнулся я. — Пусть сидит.

— Дык он лопочет чего-то, — заметил Ткаченко.

Он и правда лопотал — одно и то же, вполголоса, не поднимая головы.

— Кузьмин, ты в школе немецкий учил?

— Учил, — поморщился Кузьмин и сплюнул. — Только у нас училка сама его плохо знала. Я «Ганс унд Гретхен» помню, и всё.

Через полчаса нашёлся человек из первой роты, знавший язык по-настоящему: до войны он работал в леспромхозе приёмщиком и имел дело с немецкими станками.

Он присел перед пленным и послушал.

— Он говорит: один. Я один, — перевёл он.

— В смысле, что он тут один остался? — уточнил я.

— В смысле, — приёмщик подумал. — В смысле, что его тут одного оставили.

Он спросил ещё что-то.

Пленный поднял голову и заговорил быстро, и в этой скороговорке я разобрал только два слова — «Kompanie» и «Nacht», — и оба потом переводчик подтвердил.

— Ихняя рота ушла в ночь, — перевёл он. Вся. На левый фланг, в ложбину, потому что там третьи сутки лезут. А его оставили на двести метров: наблюдать и докладывать.

— Один на двести метров?

— Один-единственный.

Я поглядел на мальчишку в шинели не по росту.

— Спроси у него, почему он не стрелял, — попросил я.
Переводчик спросил.

Пленный ответил длинно, и по лицу переводчика я понял, что ответ ему не нравится.

— Ну и чего он?

— Он говорит, что стрелял бы, если б их было двое, — перевёл приёмщик.

— Не понял я его.

— Я тоже сперва не понял, — приёмщик поскрёб щетину.
— Он говорит: один человек с винтовкой на двести метров — это не оборона, это мишень. Он бы снял двоих, а потом его бы нашли по вспышкам и накрыли.

Он поглядел на меня.

— А так он сидел, глядел и передавал по телефону. Это, говорит, его задача была.

— Он передал про нас наверх? — уточнил я.

Переводчик спросил.

— Передал, — подтвердил он. — В двенадцать сорок. Сказал: русские лезут по стене левее ложбины, прошу огня.

— И что ему ответили? — не отставал я.

Приёмщик выслушал ответ и вдруг усмехнулся — коротко и невесело.

— Ему ответили, что этого не может быть.

Я сел на дно траншеи.

Потому что тут всё сходилось окончательно.

Он передал точно и вовремя. Он сделал свою работу как

положено, и человек на том конце провода тоже сделал свою как положено: он взял карту, посмотрел на отметку крутизны и ответил, что по стене в сорок пять градусов не лезут.

И это было правдой.

По стене в сорок пять градусов действительно не лезут. Так написано во всех наставлениях, и в наших тоже.

— Ткаченко, послушай сюда.

— Слушаю вас.

— Он нас видел с двенадцати сорока.

— Дык это ж двадцать минут!

— Двадцать минут, — не стал смягчать я. — Мы двадцать минут висели на верёвке, а он сидел и глядел.

Ткаченко поглядел на пленного.

— И не стрельнул.

— Не стрельнул.

— Дык он же мог нас всех, — не унимался Ткаченко. Мы ж как мухи на стенке.

— Мог, — не стал спорить я. — Только его бы за это положили.

Ткаченко долго молчал.

— Товарищ старший сержант, — выговорил он наконец. — А это как называется-то?

— Никак не называется. Это называется, что человек посчитал.

Средний ярус мы взяли в час дня.

Двести метров траншеи, пустой немецкой траншеи пол-

ного профиля, с плетнёвыми стенками и с нишами, где было сухо.

Из восемнадцати человек не потеряли никого.

Ни одного.

Двое ушиблись, у одного было растяжение, у Кузьмина верёвкой сорвало кожу с ладоней до мяса.

И всё.

Я сидел на дне этой траншеи, привалившись к плетню, и не мог поверить, и рядом со мной сидели семнадцать человек и тоже не могли.

— Товарищ старший сержант, — обронил Гладышев. — А чего ж они тут никого не посадили?

— Некого сажать, — отозвался Ткаченко вместо меня. — У них тут на весь берег, поди, рота.

— Дык они ж полгода копали!

— Копали полгода, а сидит рота, — Ткаченко стянул сапог и вылил из него воду. — Оно, знаешь, завсегда так: понастроят на дивизию, а держат взводом.

Я слушал их и думал совсем о другом.

Я думал о том, что человек, который выбирал место для этой обороны, всё сделал правильно.

Он сделал единственный удобный подъём и превратил его в ловушку. Он оставил склон непроходимым, потому что склон и правда непроходим — по всем расчётам, по всякой военной науке и по здравому смыслу.

Он был прав.

Мы прошли по нему только потому, что двое суток таскали глину на плащ-палатках в лесу под Карачевом.

И потому, что дождь пошёл не в ту минуту, когда мог нас убить, а на двадцать минут раньше — когда мы ещё были на половине и когда у нас ещё было куда бить колья.

Первое, что мы сделали наверху, — развернули пулемёт.

Не свой — ихний. Он стоял в третьей ячейке от края, снятый со станка, и рядом лежали две коробки с лентами, и его бросили, потому что уносили в ложбину другое.

Ткаченко возился с ним минут двадцать и заставил работать.

— Ты и с ихним управляешься? — удивился я.

— Дык у меня отец на МТС работал, — он щёлкнул затвором и прислушался. — Я с тринадцати лет в железе копаюсь. Оно, товарищ старший сержант, всё железо одинаковое, только надписи разные.

Второе — мы разобрали, куда смотреть.

Отсюда, с тридцати восьми метров, было видно всё, чего не было видно снизу.

Ложбина открывалась сбоку и целиком, и я наконец увидел то, о чём три часа только догадывался.

Она была не просто пристреляна.

Она была обстроена.

По обеим её сторонам, на середине высоты, были вырублены две площадки — небольшие, метра по два, — и с этих площадок ложбина простреливалась вдоль, перекрёстно, с

двух сторон.

Снизу их не увидишь никак: они закрыты собственным козырьком.

— Гладышев, гляди сюда, — позвал я.

Он подошёл и стал глядеть.

— Видишь площадки? — уточнил я.

— Вижу две, — отозвался он. — Слева и справа.

— Вот из-за них двадцать два человека и легли.

Гладышев долго смотрел.

— Товарищ старший сержант, а их кто выдалбливал? Глина ж.

— В том и дело, что глина. Их не выдолбишь за ночь, их надо крепить.

— Дык это работы недели на две.

— На две, — подтвердил я. — И это ещё не всё.

Я показал ему вниз, на дно ложбины.

Там, метрах в пятнадцати от нижнего входа, поперёк лежала жердь.

Обыкновенная жердь, притопленная в глину, вросшая, заросшая по краям травой. Снизу её вообще не видно, а сверху видно отлично.

— А это у них чего? — не понял он.

— А это, я думаю, отметка. По ней они пристреливались.

Гладышев поглядел на жердь, потом на площадки, потом на меня.

— Товарищ старший сержант, — выговорил он. — Это ж

выходит, что они там всё лето сидели и готовились.

— Всё лето.

— И ждали, что мы погрёмся именно туда.

— И ждали.

Он помолчал.

— А мы и попёрлись, — заключил он.

Севрюк поднялся к нам в два часа.

Поднялся по нашей же верёвке, одной рукой, что при его ранении вообще не должно было получиться.

Он вылез, сел на бруствер и минуты две молчал, разглядывая пустую траншею.

— Сколько потеряли людей?

— Никого, товарищ капитан, — доложил я.

Он повернул голову.

— Как это никого?

— Так. Восемнадцать вышли, восемнадцать наверху.

Севрюк долго на меня смотрел.

Потом отвернулся и стал глядеть на реку — с тридцати восьми метров её было видно всю, от берега до берега, широкую, серую, в дожде.

— Я туда двадцать два человека положил, — обронил он.

— А ты восемнадцать поднял по стене, и ни одного.

— Товарищ капитан...

— Не надо, — он поднял здоровую руку. — Я не про то. Я не себя жалею.

Он помолчал.

— Я про то, что мы туда ходили трижды. И на третий раз я уже знал, что там ждут. Я это понял после второго.

— И почему пошли?

— А потому, что другого места не было, — обронил Севрюк. — И потому, что приказ.

Он поглядел на меня.

— Ковалёв, ты вот скажи. Ты когда сюда пришёл, ты за пять минут понял, что ложбина — ловушка. Так?

— Так точно.

— А я шесть часов не понимал.

— Вы понимали. Вы сказали, что она как приглашение.

— Сказал, — согласился он. — Сказал и всё равно пошёл в третий раз.

Он опёрся о плетень и поднялся.

— Вот в чём разница между нами, — заключил он. — Ты знаешь, что делать, когда нельзя туда. А я знаю только, что приказано туда.

Он пошёл вдоль траншеи.

— Ковалёв, — окликнул он через плечо. — Ты когда докладную писать станешь — про верёвку напиши.

— Про какую верёвку?

— Про то, что на плацдарм её надо втрое больше, чем возят, — обронил Севрюк. — У нас на батальон было сто двадцать метров, из них половина обрывками. А надо было триста, и целыми.

Он остановился.

— И ещё колья напиши. Нам колья пришлось из немецкого заграждения выламывать.

Он поглядел на меня.

— Ты ведь станешь писать?

— Стану, товарищ капитан.

— Вот и пиши. Тебя, я слышал, читают.

К вечеру второго октября на плацдарме сталолюдно.

Подошла вторая волна первого батальона, потом пехота из стрелковой дивизии, потом ещё кто-то.

По нашей верёвке за день поднялось человек триста.

К ночи её сменили на нормальную, привезённую с левого берега, и в четырёх местах вырубили в глине ступени, и подъём стал называться «сапёрный», и так его называли ещё месяца полтора, покамест не насыпали настоящую дорогу в объезд.

Верёвку нашу за день истёрло до половины.

Я это заметил под вечер, когда по ней уже поднялись человек триста и когда её наконец сменили на нормальную, привезённую с левого берега.

Старую сматывал Кузьмин, и сматывал он её на локоть, и я увидел, как он вдруг остановился и стал разглядывать середину.

— Товарищ старший сержант, гляньте сюда, — позвал он.

Я подошёл.

В том месте, где верёвка перегибалась через кромку глины, она была протёрта почти насквозь: осталось прядей пять из двенадцати.

— Ещё бы сколько выдержала? — прикинул я.

— Не знаю, — Кузьмин повертел её в руках. — Час, может, два. А может, и на следующем бы лопнула.

Он поглядел на меня.

— Дык её ж перекладывать надо было.

— Надо было, — согласился я.

Это была моя ошибка, и я её записал в тот же вечер, третьим пунктом.

Перегиб через кромку истирает верёвку в двадцать раз быстрее, чем всё остальное. Под кромку кладут доску, полено, свёрнутую шинель — что угодно, лишь бы не глина.

Я это знал.

Я это знал в той жизни, где по верёвке лазают в отпуске и с инструктором.

И не вспомнил.

А вечером я нашёл Луконина.

Точнее, не нашёл.

Я обошёл весь плацдарм — все восемьсот метров по фронту и триста в глубину, — и спрашивал у всех, кого встречал, про первый батальон.

Первый батальон переправлялся левее нас, у самого оврага.

Мне ответили не сразу.

Наконец один боец, сидевший у воды и чинивший сапог, поглядел на меня и обронил:

— Первый батальон? Дык они не дошли.

— Как не дошли?

— А так. Их на воде накрыли, — он снова взялся за сапог. — У них там мель посередине, они на неё сели и стояли минут пять.

— Кто-нибудь дошёл?

— Дошли, — обронил он. — Только не сюда. Их снесло вниз, версты на полторы, они там и вышли.

— Живые хоть?

— А кто ж их знает.

Я вернулся к траншее в темноте.

Ткаченко сидел у ниши и грел на спиртовке немецкую консервную банку с водой.

— Товарищ старший сержант, садитесь. Кипяточку сделаем.

Я сел.

— Ткаченко, скажи мне.

— Чего сказать?

— Ты Луконина хорошо знал?

Он поднял голову.

— Дык почему «знал»?

И я понял, что сказал не то слово.

— Знаешь, — поправился я.

Ткаченко поглядел на меня поверх банки, в которой заки-

пала вода.

— С июля, — отозвался он. — Он к нам из разведки пришёл, после Спас-Деменска. Его там ранило, а после госпиталя не взяли обратно, сказали — глаз посадил.

— А чего он в разведку не вернулся?

— Дык он просился, — Ткаченко снял банку и поставил на землю. — Просился, а ему сказали: у тебя, Луконин, теперь глаз хуже, а голова та же, иди учи молодых.

Он подул на пальцы.

— Он и учил. Он у нас, товарищ старший сержант, полбригады через себя пропустил.

Мы помолчали.

— Ткаченко, а скажи мне вот что.

— Слушаю вас.

— Мне сказали, первый батальон не дошёл.

— Слыхал я, — он не поднял головы. — Их на мель посадило, они там стояли, и по ним клали.

— И что дальше было?

— А дальше их снесло вниз, версты на полторы, — он разлил кипяток в две кружки. — Они там и вышли, у самого оврага.

— А живые есть?

Ткаченко долго молчал, глядя в кружку.

— Товарищ старший сержант, — выговорил он наконец. — Вы ж не хуже меня понимаете, что я вам сейчас ничего не скажу. Я не знаю. Никто не знает. К оврагу связи нет, туда

посыльный не дошёл.

Он подвинул мне кружку.

— Пейте, покамест горячее.

Я взял.

Кипяток был мутный, отдавал жестью и немецкой банкой из-под чего-то мясного, и это был первый горячий глоток за трое суток.

— Ткаченко, он мне в первый день сказал, что мне тут не место.

— Он всем это говорит, — отозвался Ткаченко, не удивившись. — Он мне тоже говорил, в июле. И Черкасу говорил. И Кузьмину.

— И что потом?

— А потом ходит и глядит, — Он отхлебнул из своей кружки. — Он, товарищ старший сержант, так проверяет. Скажет человеку «тебе тут не место» и глядит, чего человек станет делать.

— И чего люди делают?

— Большинство обижается, — Ткаченко поставил кружку. — А некоторые начинают доказывать.

Он поглядел на меня через огонёк спиртовки.

— Вы вот доказывать не стали. Вы просто работали. Ему это, по-моему, больше всего и понравилось.

Ночью с левого берега пришли ещё четыре лодки.

Они привезли патроны, две катушки телефонного прово-

да, мешок сухарей и одного человека, который был нам нужнее всего остального.

Он был из разведотдела бригады, у него была карта, и на этой карте правый берег был нарисован уже не по наблюдению с той стороны, а по тому, что за сутки увидели мы.

Он сел в нашей траншее, разложил её на коленях и часа полтора расспрашивал.

Меня — про склон.

Я рассказал ему всё: и про песчаные прослойки, и про мокрое пятно, и про то, что мы прошли зигзагом от полосы к полосе, и про семь уступов, и про то, сколько это заняло.

Он записывал.

— Старший сержант, а вы это где освоили? — поинтересовался он.

— Нигде. Сообразил на месте.

— На месте, — повторил он и что-то отметил. — А ежели вас попросят это изложить письменно?

— Изложу, отчего же.

— И когда изложите?

Я поглядел на него.

Он был чистый, выбритый, в сухой шинели, и он приплыл сюда четыре часа назад.

— Как только будет бумага, товарищ лейтенант, — отозвался я.

Он полез в планшет и достал десять листов.

— Бумага есть, — произнес он. — Пишите.

Глава 8

Луконин нашёлся на четвёртые сутки.

Он не приплыл и не пришёл — его принесли.

Точнее, он пришёл сам, но последние восемьсот метров вдоль берега его вели под руки двое, и вели так, как ведут человека, который ещё держится на ногах исключительно из упрямства.

Я его сперва не узнал.

За четверо суток он оброс щетиной, лицо у него стало серое и опало, а левая рука была примотана к туловищу поверх гимнастёрки грязным полотенцем.

— Ковалёв, ты, что ли.

Он остановился в трёх шагах и оглядел меня с ног до головы — медленно, как в первый день на полосе.

— Ты, значит, тут, — произнес он.

— Тут, — подтвердил я. — А ты откуда взялся?

— Снизу? — он мотнул головой вдоль берега. — Нас на полторы версты снесло, мы там и вышли.

Его усадили на ящик у самой воды.

Он сел и минуты полторы молчал, глядя на реку, и я не торопил, потому что понимал: он не отдыхает, он собирается.

— Сколько вас вышло? — не выдержал наконец Ткаченко.

— Из роты? — Луконин пошевелил здоровым плечом. — Из роты девятнадцать.

— Из скольких было? — уточнил он.

— Из восьмидесяти четырёх, — ответил Луконин отсутствующим голосом.

Никто ничего не сказал.

Ткаченко отвернулся и стал ковырять носком сапога глину.

— Мель, — выговорил Луконин, глядя на воду. — Посередине мель, полста метров в поперечнике. Её ни на одной карте нет, потому что она песчаная и её каждый год сносит.

Он потянулся здоровой рукой к фляжке, и Гладышев успел раньше — открыл крышку и подал.

— Мы на неё сели все разом, — продолжал Луконин, отпив. — Четыре лодки в ряд. И встали. И покамest сталкивались, по нам клали с двух точек.

— Долго стояли-то? — не выдержал Гладышев.

— Не знаю. Мне потом сказали, минут семь.

Он вернул фляжку.

— Семь минут, Ковалёв. Из восьмидесяти четырёх девятнадцать. Это, ежели считать, по человеку в четыре секунды.

Я сел на песок рядом с ящиком.

— Ты сам-то как? — спросил я.

— Ключица, — он поморщился. — И плечо разворотило. Меня Гурин вытащил, я плыл на нём, как на бревне.

— А Гурин где?

— Гурин там остался, — ответил Луконин. — Он меня до берега довёл и обратно пошёл, за вторым.

Он замолчал.

И молчал долго, минуты две, и никто его не трогал.

— Ты про мель наверх доложил? — не выдержал я наконец.

— Кому докладывать-то? — огрызнулся он. — У нас связи третьи сутки нет.

— Тут есть, — возразил я. — Ночью провод протянули.

Луконин повернул ко мне голову.

И я увидел, как в его сером опавшем лице что-то включилось — впервые за весь разговор.

— Где связь? — потребовал он.

— В траншее наверху, у Севрюка, — доложил я.

Он попробовал встать.

— Луконин, ты сидеть можешь еле-еле, — напомнил я.

— Ковалёв, — он поглядел на меня снизу вверх, и голос у него сел. — Там завтра вторая волна пойдёт. Триста человек. И они пойдут по той же воде.

Я поднялся.

— Ткаченко, бери двоих и веди его наверх по сапёрному подъёму. Осторожно, у него ключица.

— Есть, сделаю.

— И скажешь Севрюку: доложить в бригаду немедленно, вне очереди. Мель на середине, песчаная, полста метров, на картах нет, привязка — от устья оврага двести метров вниз по течению.

Луконин уставился на меня.

— Ты откуда привязку взял? — не понял он.

— Ты сам сказал. Полторы версты снесло от места высадки, а высаживались вы у оврага.

Он покрутил головой.

— Считаешь, — уронил он.

— Считаю помаленьку.

— Ну считай, — заключил Луконин и позволил себя вести.

Мель на схему нанесли в ту же ночь.

Вторая волна на следующие сутки прошла западнее её на двести метров, и потеря на воде у них было втрое меньше, чем у нас.

Про это потом написали в донесении.

Про то, что мель нашёл раненый сержант из первого батальона, которого вынесло на полторы версты вниз, — не написали.

Так оно обычно и бывает.

Луконина отправили на левый берег той же ночью, с порожним понтоном.

Я его провожал.

Он сидел на носу, привалившись к борту здоровым плечом, и глядел на воду, и понтон стоял у берега минут двадцать, покамест грузили ещё троих раненых.

— Ковалёв.

— Слушаю.

— Ты глину свою тут строить будешь?

Я не сразу понял, о чём он.

— Какую глину?

— Обрыв, — он мотнул головой в сторону склона. — Ты в Карачеве строил, и вон чего вышло. Тут построишь?

— Тут не из чего. Тут вся глина уже настоящая.

Луконин помолчал.

— Тогда людей учи на настоящей, — обронил он. — По-камест стоим.

— Луконин, тут стреляют.

— Тут всегда стреляют, — он поморщился и переменял положение. — Ты, минёр, вот чего не понимай неправильно. Я тебе не советую, я тебя прошу.

Он поглядел на меня.

— У меня из роты девятнадцать человек. Их сейчас растащат по подразделениям, потому что роты как таковой нету. И они пойдут к чужим командирам, которые про твои номера и про счёт вслух слыхом не слыхали.

— И что ты хочешь?

— Чтоб ты их за неделю прогнал по своему порядку. Всех девятнадцать.

Понтон качнуло — занесли последнего раненого.

— Прогоню, — пообещал я.

— Ты не «прогоню», ты запиши, — потребовал Луконин. — У тебя тетрадка есть, вот и запиши: девятнадцать человек. Ты, я гляжу, чего записал, то и делаешь.

Я достал тетрадь и записал при нём, при свете чужой копилки.

Он проследил, как я пишу, и только тогда откинулся к борту.

— Вот теперь ладно.

Понтон отвалил от берега в третьем часу.

Я стоял и глядел ему вслед, покамест он не пропал в темноте, и думал о том, что этот человек за месяц не сказал мне ни одного доброго слова и что при этом он единственный, кто ходил на мои занятия каждый день.

Из девятнадцати я потом прогнал семнадцать.

Двоих не успел: их забрали в стрелковую дивизию восьмого числа, до того, как я собрал группу.

Пятого октября плацдарм стал похож на что-то «наше».

За трое суток на него переправили две стрелковые роты, батарею сорокапятков на плотах, шесть станковых пулемётов и полевую кухню, отчего впервые за неделю появился горячий приварок.

Появились и потери другого рода.

Немцы, которые первые двое суток нас будто не замечали, на третьи опомнились и начали работать по плацдарму методично — не атаками, а огнём: миномёты с закрытых, гаубицы из глубины, дважды в день авиация.

Копали мы теперь круглосуточно.

Копали в глине, и глина держала плохо: стенки плыли, приходилось крепить плетнём, а лозу возить с левого берега, потому что на плацдарме её не было.

Занятия я начал шестого, на рассвете, и место выбрал такое, что Севрюк, когда узнал, полчаса не мог решить, отменить или нет.

Я взял под них тот самый склон, по которому мы поднялись.

Не весь — нижние восемь метров, у самой воды, там, где обрыв уходил за выступ и не просматривался с немецкой стороны. Кусок был неудобный, зато свой: та самая глина, те самые песчаные прослойки, та самая осыпь, которая держит нажим и не держит опору.

Первую группу привёл Ткаченко — семерых из луконинской роты.

Они пришли злые.

Люди, четверо суток просидевшие на плацдарме под миномётами и потерявшие три четверти роты, шли на занятия примерно с тем чувством, с каким идут к зубному.

— Товарищ старший сержант, — не выдержал один из них, здоровый, с забинтованной кистью. — А это обязательно?

— Нет.

Он опешил.

— Как это нет?

— Так. Приказа на это нету, я его не выпрашивал, — я

показал на склон. — Кто не хочет — пусть идёт спать, я никому не доложу.

Они переглянулись.

— А чего тогда собрали?

— Затем, что вас через неделю раскидают по чужим взводам. И там будет свой командир, и он про эту глину знать не будет.

Здоровый поглядел на склон.

— Дык мы по ней уже лазали, — обронил он. — Третьего числа.

— Ты лазал?

— Не я. Наши лазали, у оврага.

— И как оно?

Он помолчал.

— Плохо, — выговорил он наконец. — Мы там четверых потеряли. Двое сорвались, двоих сверху сняли, покамест они висели.

— Вот с этого и начнём, — обронил я. — Почему сорвались?

— Дык глина.

— Глина у всех одинаковая. Отчего один срывается, а другой нет?

Он не ответил.

И вот тут я в первый раз применил то, чему меня учил Панкратов на карьере в июле, — только наоборот.

Панкратов не объяснял. Он давал человеку сделать непра-

вильный вывод и молчал.

— Иди, — велел я здоровому. — Восемь метров вверх. Работай как умеешь.

Он полез.

Прошёл три метра и поехал — ровно так, как я и ждал. почувствовал, что нога уходит, и сел на пятки.

Съехал он метра на полтора, ободрал ладони и обозлился окончательно.

— Ну и чего? — окликнул он снизу.

— Ничего. Теперь скажи, чего ты сделал, когда почувствовал, что едешь.

Он подумал.

— Дык ничего не сделал. Оно само.

— Ты сел.

— Ну сел.

— А почему сел?

— Дык чтоб ниже быть! — он развёл руками. — Оно ж понятно: ниже — устойчивей.

— Ниже — устойчивей на твёрдом, — ответил я. — А на глине пятка режет мокрый слой и уходит. Ты сел и сам себя спустил.

Он поглядел на свои ладони.

— И чего надо было?

— Встать на носки и не двигаться три секунды. Она держит три секунды, за это время можно перенести вес.

— А ежели не удержит?

— Тогда съедешь, — не стал я обманывать. — Только съедешь на полметра, а не на полтора.

Он полез второй раз.

Проехал, встал на носки, замер — и удержался.

И вот тут вся семёрка перестала быть злой.

Дальше пошло легче.

За шесть дней через этот кусок склона прошли семнадцать человек луконинской роты, потом двадцать из нашего батальона, потом стали приходить чужие — из стрелковой дивизии, потому что им тоже надо было ходить вверх-вниз по этому берегу с ящиками.

К десятому числу я перестал считать.

Занятия шли по два часа на рассвете, покамест немецкая авиация не летала, и никакого приказа на них так и не было.

Севрюк про них знал и молчал.

А один раз пришёл и просидел на камне у воды всё занятие, не вмешиваясь, и ушёл, ничего не сказав.

Шестого числа меня вызвал Гурьянов.

Он переправился накануне ночью и разместился в немецком блиндаже среднего яруса — там, где до нас сидел наблюдатель.

Блиндаж был хороший: накат в три слоя, сухо, и на стене осталась приколотая кнопкой открытка с видом какого-то города с башней.

Гурьянов её не снял.

— Ковалёв, садись, — приказа он.

Я сел на снарядный ящик.

Комбат был чисто выбрит, что после четырёх суток на плацдарме выглядело почти вызывающе, и от него пахло мылом.

— Ты бумагу писал? — начал он.

— Писал, товарищ майор. Лейтенанту из разведотдела, в ночь на третье.

— Я её читал, — сообщил он.

Он выложил на ящик стопку листов.

Моих — я узнал почерк и кривые строчки.

— Двенадцать страниц, — обронил Гурьянов. — Про склон, про верёвку, про колья, про то, сколько чего надо на батальон. Я вчера показал комбригу.

— И что комбриг?

— И комбриг спросил, кто такой Ковалёв.

Он побарабанил пальцами по стопке.

— А я ему ответил, что Ковалёв у меня отстранён от командования взводом с шестнадцатого сентября.

Я молчал.

— Он спросил за что, — продолжал комбат.

— И что вы сказали?

— Правду сказал, — не стал смягчать Гурьянов. — Что человек полез проверять вход на восьмидесятой секунде и что у меня из-за этого один двухсотый.

Он помолчал.

— И знаешь, что мне комбриг ответил?

— Не знаю.

— Он спросил: а тот вход был минирован?

Я поднял голову.

— Не был, товарищ майор, — доложил я. — Там пустой ящик лежал.

— Вот и я так ответил, — обронил Гурьянов. — А он мне на это: значит, у вас, майор, боец проверил там, где никто не проверял, и не нашёл ничего. И вы его за это сняли.

Он откинулся к стенке блиндажа.

— Я ему стал объяснять про счёт. Про то, что на объекте счёт общий и что он его сорвал.

— И что комбриг?

— А комбриг сказал, что я прав, — Гурьянов невесело усмехнулся. — И что он бы снял тоже. И что теперь надо решить, чего с тобой делать дальше, потому что человек, который написал вот это, — он постучал по стопке. — У него в бригаде один.

Он выпрямился.

— Приказом по бригаде с седьмого октября создаётся при штабе бригады группа по изучению опыта инженерного обеспечения.

— Чего создаётся? — не понял я.

— Группа, — повторил он. — Три человека: старший лейтенант из разведотдела, писарь и ты.

Я сидел и соображал.

— Товарищ майор, а чем эта группа занимается?

— Тем же, чем ты последний месяц занимаешься, — ответил комбат. — Ходишь, глядишь, считаешь, пишешь бумаги. Только теперь по всей бригаде, а не по одному взводу.

Он придвинул мне стопку.

— И вот тебе первое, что я тебе скажу как твой бывший комбат, покамест ты ещё мой.

— Слушаю вас.

— Не соглашайся сразу.

Я поглядел на него.

— Почему, товарищ майор?

Гурьянов встал и прошёлся по блиндажу — три шага туда, три обратно.

— Потому что через месяц ты будешь ходить по батальонам с блокнотом, — выговорил он. — И для всех ты будешь штабной. Который приезжает, глядит и уезжает. И тебе будут врать.

— Мне и сейчас врут.

— Тебе сейчас не врут, — не принял он возражения. — Тебе сейчас говорят как есть, потому что ты лазал с ними по глине и они это видели.

Он остановился.

— А через месяц ты будешь чужой. И тогда все твои бумаги будут писаться по чужим словам, а не по своим глазам.

Я подумал.

— Товарищ майор, а что вы предлагаете?

— Просись, чтоб тебя оставили на довольствии в батальоне.

— Это как?

— А так. Числишься при штабе бригады, а живёшь и кормишься у меня, — Гурьянов сел обратно. — И на объекты ходишь не как проверяющий, а как человек, который сам полезет.

Он поглядел на меня.

— Разница, Ковалёв, в одну строчку в приказе. А по существу — во всём.

Я потом много раз вспоминал этот разговор.

Потому что в нём Гурьянов, сам того не заметив, объяснил мне вещь, которую я в первой жизни знал по своей работе и совершенно забыл.

Человек, который проверяет, и человек, который делает, — это разные люди. И как только ты перестал делать, тебе перестают говорить правду. Не из вредности, а потому что ты уже с другой стороны стола.

Я это записал в тетрадь в тот же вечер.

Пятнадцатым пунктом, там, где шло «чего делать нельзя»:

«15. Нельзя проверять то, чего ты сам не делаешь. Тебе станут врать, и врать будут вежливо, а ты не заметишь».

Седьмого октября на плацдарм приехал человек из инженерного управления фронта.

Не приехал — приплыл, ночью, на понтоне, вместе с досками и катушками провода.

Его фамилия была Астахов, он был подполковник, ему было под пятьдесят, и он был первым человеком за два месяца, который выслушал меня и не удивился.

Он нашёл меня сам.

Пришёл в траншею среднего яруса, где мы в тот час крепили плетнём осыпающуюся стенку, спросил, кто Ковалёв, и сел на бруствер, не глядя, чистое там место или нет.

— Работайте, работайте, — велел он, увидев, что я подвигаюсь. — Я погляжу.

Он просидел на бруствере минут сорок.

Смотрел, как мы крепим стенку, как режем лозу, как двое таскают глину, и один раз спросил, почему мы вбиваем колья с наклоном.

— Чтоб при осадке они не выходили, товарищ подполковник. Прямой кол глина выдавливает за неделю.

— За неделю, — повторил он и что-то отметил в блокноте. — А наклонный?

— Наклонный держит месяца полтора. Дальше не проверял, мы тут четвёртые сутки.

Астахов усмехнулся.

— Полтора месяца вы откуда взяли, ежели четвёртые сутки?

Вот тут я на секунду замер.

Потому что взял я это из первой жизни — из опыта установки анкеров в грунт, который к сорок третьему году не имел ни малейшего отношения.

— Прикинул, товарищ подполковник, — выговорил я. — По тому, как оседает.

Он поглядел на меня поверх блокнота.

И ничего не спросил.

Он вообще, я потом заметил, задавал вопросы только про дело и никогда про человека, — и это, наверное, единственная причина, по которой наш с ним разговор состоялся.

— Ковалёв, — произнес он часа через полтора, когда мы кончили стенку и сели передохнуть. — Я прочёл вашу записку про склон.

Я промолчал.

— И записку про указания по производству работ, июльскую. Тоже вашу.

Я повернулся к нему.

— Товарищ подполковник, там нет моей фамилии.

— Там нет, — согласился Астахов. — А в сопроводительном письме есть. Капитан Северцев из тринадцатой армии писал сопроводительное от руки и фамилию указал.

Он захлопнул блокнот.

— Он, между прочим, в сентябре получил майора.

Я сидел на бруствере немецкой траншеи, над Днепром, на четвёртые сутки после переправы, и почему-то самым сильным чувством в тот момент была радость за Северцева.

Совершенно неуместная, тихая и очень тёплая.

— Он жив?

— Жив и здоров, — подтвердил подполковник. — Слу-

жит там же. Мне про вас, собственно, он и написал, когда узнал, что я еду на этот участок.

Он поглядел на реку.

— Ковалёв, я вам сейчас задам один вопрос, а вы отвечайте не спеша.

— Слушаю, товарищ подполковник.

— Вот вы за лето написали две бумаги, и обе оказались дельные. Скажите мне: почему их писать больше некому?

Я подумал.

Долго — минуты три, и Астахов не торопил.

— Потому что тот, кто может написать, не имеет времени, — выговорил я наконец. — А у кого есть время, тот не был на объекте.

— Что ещё?

— И потому, что писать нечем и некогда. У нас в батальоне бумага — это дефицит, товарищ подполковник. Мне в июне первые двадцать листов подарил капитан Северцев из своего запаса. До этого я чертил на обёртке от концентрата.

Астахов молчал.

— И ещё, — прибавил я. — Ежели человек напишет, как оно было на самом деле, — у него будут неприятности. Потому что «как было на самом деле» почти всегда означает, что кто-то работал неправильно.

— Например, у кого?

— Например, у командира батальона, — обронил я. — Или сам пишуший.

Подполковник повернулся ко мне.

— Вы про себя?

— Про себя, товарищ подполковник. Я в июле написал, что человек погиб по моей вине, потому что я прошёл полосу вчетверо быстрее нормы.

— И что вам за это было?

— Ничего мне за это не было.

— Вот именно, — заключил Астахов. — И это, Ковалёв, хуже всего.

Он поднялся и отряхнул шинель.

— Значит, так. Я тут пробуду четверо суток и уеду. За эти четверо суток вы мне соберёте всё, что у вас есть.

— Что именно, товарищ подполковник?

— Всё, — повторил он. — Записки, тетрадь, черновики, цифры. Хоть на обёртке от концентрата.

Он застегнул шинель.

— И вот ещё что. Я вас не хвалить приехал.

— Я понимаю.

— Не понимаешь, — покачал он головой. — Я приехал потому, что за сентябрь по трём фронтам при форсировании рек инженерные части потеряли столько людей, что цифру мне запретили называть вслух.

Он поглядел на меня.

— И половина этих потерь — не от огня. Половина — от того, что люди не умели того, чему их никто не учил.

Он пошёл по траншее и обернулся:

— Так что собирайте. Мне нужна не ваша храбрость, Ковалёв. Мне нужны ваши семь уступов и наклонные колья.

Собирал я двое суток.

Собирать оказалось нечего.

То есть в голове было много, а на бумаге — почти ничего. тетрадь с двадцатью пятью пунктами «чего делать нельзя», двенадцать страниц про склон и обрывки записей на всём, что подворачивалось под руку.

И я сел писать заново.

Писал в блиндаже, при коптилке из снарядной гильзы, по ночам, потому что днём работал со всеми.

Ткаченко приносил мне кипяток и сидел рядом.

— Товарищ старший сержант, а можно вопрос?

— Спрашивай.

— Вы вот пишете, а сами через месяц уедете.

Я поднял голову.

— С чего ты взял, что уеду?

— Дык весь батальон говорит, — пожал плечами Ткаченко. — Говорят, вас в штаб бригады забирают.

— Забирают, верно.

— Ну вот.

Он помолчал, глядя на коптилку.

— И чего нам с этого?

Вопрос был правильный, и я на него в тот момент ответить не смог.

Потому что от моих двенадцати страниц конкретному

Ткаченко, конкретному Гладышеву и конкретному Кузьмину не было ровным счётом ничего.

Бумага работает медленно. Она уходит наверх, где её читают, потом её переписывают казённым языком, потом печатают, потом рассылают, и через три месяца она возвращается вниз — уже без фамилий и без половины смысла.

А люди гибнут сейчас.

— Ткаченко, скажи мне вот что.

— Слушаю.

— Ты когда взвод принял, я тебе про счёт вслух говорил. Помнишь?

— Помню. Мы его ведём.

— А чего ещё ведёте?

Он стал загибать пальцы.

— Узел ваш вяжем. Номера по порядку, и кто кого сменяет. Кричим одно слово, ежели чего не то.

— На обрыве кто первым лезет?

— Кто ловчее. У нас Кузьмин лезет, он лёгкий.

— А кто решил, что Кузьмин?

Ткаченко подумал.

— Дык мы решили. Промеж себя.

— Вот, — обронил я. — Вот это и есть ответ на твой вопрос.

Он не понял, и я объяснил.

Бумага уйдёт наверх и вернётся через три месяца. А то, что взвод решил промеж себя, работает завтра утром.

И моя работа теперь не в том, чтоб написать бумагу, а в том, чтоб в каждом взводе бригады люди начали решать про-
меж себя.

— Дык это ж как? — не понял Ткаченко. — Мы ж не станем всей бригаде объяснять.

— Не станем, — согласился я. — А ты станешь.

Он уставился на меня.

— Это я-то стану?

— Ты, Ткаченко. Ты и Кузьмин, и Гладышев. Вы через месяц пойдёте в другие взводы командирами отделений, потому что в бригаде некомплект и вас растащат по подразделениям.

Он открыл рот.

— Дык я не хочу в другой взвод!

— А тебя не спросят.

Я отложил карандаш.

— Вот и подумай, чего ты туда принесёшь, кроме автомата.

Астахов уехал одиннадцатого октября.

Я отдал ему всё: восемнадцать страниц, тетрадь и отдельно — список из девяти вопросов, которые за месяц накопились у меня и на которые я не знал ответа.

Он пролистал список последним и на нём остановился.

— Это что?

— Вопросы, товарищ подполковник. То, чего я не пони-

маю.

— Например какой?

— Например, четвёртый, — я показал. — «Почему при подъёме по глине человек садится на пятки, хотя это гарантированно приводит к срыву? Инстинкт или ошибка обучения?»

Астахов прочитал и поглядел на меня.

— Ковалёв, вы понимаете, что это не вопрос сапёра?

— А чей?

— Это вопрос человека, который придумывает, как учить, — обронил он. — Сапёр спрашивает «как сделать». А вы спрашиваете «почему у людей не выходит».

Он сложил мои листы в планшет.

— Я вам на четвёртый отвечу, кстати. Это не инстинкт. Это оттого, что всех учат окапываться, а окапываются сидя. Я замер.

Потому что это было очевидно и потому что я до этого не додумался.

— Товарищ подполковник...

— Записывайте, записывайте, — усмехнулся он. — Мне не жалко.

Он застегнул планшет и подал руку.

— Ковалёв, я вас с собой не заберу, — обронил он. — Хотя мог бы, и вы бы поехали.

— Почему не заберёте?

— Потому что вы там за полгода станете штабным, —

Астахов поглядел на меня очень внимательно. — А через полгода мне нужен будет человек, который лазал по Днепру, а не человек, который про это читал.

Он пошёл к берегу и обернулся:

— Через полгода я за вами приеду. Или пришлю бумагу. Вы, главное, до весны доживите.

Я стоял на берегу и глядел, как понтон уходит на левую сторону.

Двенадцатого октября плацдарм расширили.

Наша бригада к тому времени потеряла на нём четыреста тридцать одного человека из тысячи четырёхсот, и это по документам считалось умеренными потерями.

Меня перевели в штаб бригады семнадцатого, оставив, как и советовал Гурьянов, на довольствии в первом батальоне.

А восемнадцатого я получил письмо.

Не от Ньюры и не от Северцева.

Конверт был штабной, серый, с треугольным штемпелем, и на нём стоял обратный адрес полевой почты, который я не знал.

Внутри лежал один листок, исписанный незнакомой рукой.

«Товарищ старший сержант Ковалёв.

Пишет Вам сержант Гурьев Иван Иванович, бывший командир второго отделения первого взвода 235 осб, ныне старшина того же батальона.

Сообщаю, что список зданий по городу Орлу, который Вы мне сдали 2 сентября, я по нему хожу второй месяц, как Вы велели.

Сообщаю, что за октябрь месяц по этому списку проверено вторично 29 зданий. Обнаружено и снято 4 штуки, из них 3 с часовым механизмом.

Одно здание — школа по улице, которую я Вам не назову, — было проверено 14 августа и признано чистым. Мы там нашли в стене под окном второго этажа заряд с механизмом. Механизм работал.

В школе с 1 октября располагается госпиталь на 120 коек.

Больше писать не о чем. Люди все живы, старшина Панкратов кланяется.

Гурьев».

Я прочитал это письмо трижды.

Потом сложил, убрал в карман гимнастёрки и вышел из блиндажа.

Была середина октября, над Днепром стоял туман, на левом берегу работали моторы, и где-то ниже по течению глухо били.

Хальм в апреле поставил в стене орловской школы заряд с часовым механизмом.

В августе школу проверили и признали чистой.

В октябре в неё въехал госпиталь на сто двадцать коек.

А Гурьев Иван Иванович, сержант, которого я в июне за глаза считал ограниченным человеком, ходил по моему

списку второй месяц, потому что я его об этом попросил.

Я достал тетрадь и открыл с того конца, где шло про Хальма.

И записал четырнадцатую строчку:

«Он проиграл в Орле.

Не мне. Списку на четырёх страницах, который читает старшина Гурьев.

Значит, против него работает не человек. Против него работает порядок.

Стало быть, порядок и надо строить дальше».

Глава 9

Группу по изучению опыта я принял двадцатого октября, и первое, что я про неё понял, — что она никому не нужна.

Нас было трое.

Старший лейтенант Данилов из разведотдела — тот самый, который приплыл в ночь на третье с картой и десятью листами бумаги. Тридцати двух лет, до войны учитель географии в Калуге, обстоятельный, с привычкой всё переспрашивать по два раза.

Писарь Лаптев — сорока с лишним, тихий, с чернильными пальцами, единственный человек в бригаде, умеющий печатать на машинке.

И я.

Машинка, кстати, была. Трофейная, с латинским шрифтом, к которой Лаптев за месяц кустарно приделал шесть русских литер из другой машинки, а остальные писал от руки в оставленных пробелах.

Выглядели наши бумаги от этого странно.

— Товарищ старший сержант, вы не смотрите, что криво, — виновато поправил очки Лаптев в первый день. — Оно читается. Я в августе так три донесения отпечатал, и ничего, приняли.

— А нормальной машинки нету? — уточнил я.

— Нормальную обещали к декабрю, — он вздохнул и по-

правил очки. — Обещали ещё в июле, к сентябрю. А в сентябре сказали — к декабрю.

Данилов же принял меня без всякого воодушевления.

Он был вежлив, но я с первого разговора почувствовал то, о чём предупреждал Гурьянов: для него я был не сапёр, а строчка в приказе.

— Значит, так, — распорядился он, разложив на ящике лист с расчерченными графами. — Задача группы: сбор и обобщение опыта инженерного обеспечения. Порядок работы: выезд в подразделение, опрос личного состава, составление справки.

— Опрос по вопроснику?

— По вопроснику, — подтвердил он и придвинул мне лист. — Вот, я составил. Двадцать два вопроса.

Я прочитал.

Вопросник был грамотный и совершенно бесполезный.

«Сколько времени затрачено на выполнение задачи?»
«Какие трудности встретились?» «Какие меры приняты?»
«Ваши предложения по улучшению?»

— Товарищ старший лейтенант, разрешите сказать прямо.

— Говорите, для того и сидим.

— По этому вопроснику вам ответят то, чего вы ждёте, — предупредил я.

Данилов поднял брови.

— Поясните вашу мысль.

— Вы спросите: какие трудности. Он ответит: трудностей не встретилось, задача выполнена. Потому что «встретились трудности» — не скажет никто.

— Он обязан отвечать честно, — возразил Данилов.

— Он и будет отвечать честно, — не уступил я. — Только честно на ваш вопрос, а не на нужный.

Данилов помолчал, разглядывая свой лист.

— А какой нужный? — не отставал он.

— «Что у вас в тот день пошло не так, как вы рассчитывали?»

Он подумал.

— Это то же самое, — не согласился он.

— Это не то же самое, товарищ старший лейтенант. Первый вопрос про его работу, а второй — про обстановку. За обстановку человека не наказывают.

Данилов ещё раз перечитал свой вопросник.

Потом взял карандаш и стал вычёркивать.

Вычеркнул он одиннадцать вопросов из двадцати двух, и после этого я перестал считать его штабным.

Первый выезд у нас был двадцать второго, во второй батальон, стоявший на левом фланге плацдарма.

Ехать было некуда — весь плацдарм был три километра по фронту, — но по грязи и под обстрелом мы шли туда полтора часа.

Пришли к комбату, майору с фамилией Хижняк, и он нас

принял примерно так, как принимают проверяющих в любой армии мира.

— Из штаба бригады? — оглядел он нас без всякого интереса. — Ну, глядите. Мешать не буду.

— Товарищ майор, нам бы поговорить с людьми, — попросил Данилов.

— Говорите. Только у меня людей мало и все при деле, так что не задерживайте.

Он ушёл.

Мы просидели во втором батальоне четыре часа, опросили одиннадцать человек и получили ровно то, о чём я предупреждал: задача выполнена, трудностей не встретилось, потери в пределах.

На обратном пути Данилов молчал полдороги.

— Ковалёв, — не выдержал он наконец. — Я не понимаю.

— Чего именно?

— Они же теряют людей. Каждый день. Я по донесениям вижу.

— Видите, конечно.

— И при этом говорят, что трудностей нет.

Он остановился и повернулся ко мне.

— Так почему они молчат?

— Потому что вы приехали и уедете, — обронил я. — А им тут оставаться, — добавил я, и по взгляду Данилова, было видно, что это он понимал и сам.

Второй выезд я предложил сделать иначе.

Не приехать и опрашивать, а прийти и работать.

Данилов сперва не понял, а когда понял, долго сопротивлялся.

— Ковалёв, у нас задача не работать, — напомнил он. — У нас задача обобщать.

— Товарищ старший лейтенант, обобщать нечего. Нам за четыре часа не сказали ни одного слова правды.

— И что вы предлагаете? — уточнил он.

— Прийти к ним на смену, — предложил я. — На всю ночь, с лопатами.

Он поглядел на меня как на сумасшедшего.

— Мы штабная группа, — напомнил он.

— Так точно, — не стал спорить я. — Только штабной группе никто ничего не расскажет, а человеку, который с тобой всю ночь глину таскал, расскажут всё.

Данилов помолчал.

— Вы понимаете, что я вам этого приказать не могу?

— Понимаю, товарищ старший лейтенант.

— И что ежели с вами что-нибудь случится, отвечать буду я.

— Понимаю, товарищ старший лейтенант.

Он вздохнул и полез за папиросами.

— Ладно, — обронил он. — Только я с вами.

Мы отработали три ночи.

Первую — в том самом втором батальоне, на устройстве

блиндажа под медпункт: копали в глине, крепили плетнём, таскали накат.

Вторую — в третьем, на минировании стыка.

Третью — в сапёрной роте стрелковой дивизии, которая нам вообще не подчинялась и куда нас пустили только потому, что нас было двое и мы пришли с лопатами.

Данилов, надо отдать ему должное, работал наравне.

Он был неловкий, городской, к третьему часу натирал ладони до крови и мотал их бинтом, — но не садился и не отходил, и это заметили.

К концу третьей ночи с нами говорили.

И вот что я слышал за эти три ночи.

Что в блиндажах на плацдарме гибнет больше людей, чем на работах: накат кладут в один слой, потому что леса нет и возить его через реку некому, и прямое попадание мины проламывает такой накат насквозь.

Что за октябрь во втором батальоне трое подорвались на своих же минах — не при постановке, а при переносе: поле поставили седьмого числа, а девятого через него потребовалось пропустить пехоту, и формуляра не было.

Что немецкие мины на этом берегу лежат не там, где мы привыкли на дуге.

Вот это последнее меня и зацепило.

Сказал мне про это пожилой сапёр из дивизионной роты, с фамилией Бондарь, к которому я подсел на перекуре.

— Товарищ старший сержант, а вы откуда сами будете?

— поинтересовался он.

— С Курской дуги, — отозвался я. — Двести тридцать пятый отдельный.

— Ага, — он затынулся. — Ну, тогда вы тут наплачетесь.

— Это отчего же?

— Оттого, что тут не так, — обронил Бондарь. — На дуге как? Там поле, и оно поле. Ряды, шаг, всё по-людски.

— А тут?

— А тут они не полем ставят. — Он показал самокруткой в темноту. — Тут они ставят по тропке.

Я насторожился.

— Как это по тропке?

— А так, — пояснил он. — Тут же местность какая: овраги, кручи, спуски. Пройти можно не везде, а по десяти местам. Вот они по этим десяти местам и кладут.

Он сплюнул.

— И кладут не кучей, а по три штуки. И не в самой тропке, а по краям, где нога сходит.

Я сидел и слушал, и у меня по спине шёл холод.

Потому что это был его почерк.

Тот самый: не полем, а по человеческому движению. Три штуки. По краям, где нога сходит.

— Бондарь, а давно они так ставят? — насторожился я.

— Дык не знаю, — он пожал плечами. — Я тут с сентября. При мне так.

— А раньше?

— Раньше, говорят, полем ставили, как везде.

Я вернулся к себе в четвёртом часу и до рассвета сидел с тетрадью.

И к утру у меня выходило вот что.

Хальм в Орле работал на срок — он ставил в апреле то, что сработает в октябре, и рассчитывал на полгода вперёд.

Хальм на дуге работал на порядок — он ставил не против сапёра, а против того, как сапёр обучен искать.

А тут кто-то работал по тропкам.

Это могло быть совпадением. Дивизионный сапёр Бондарь мог просто описать обыкновенную практику, принятую у немцев на пересечённой местности, и никакого Хальма тут могло не быть вовсе.

Я это понимал и записал это отдельной строчкой, чтобы не обманывать себя: «Возможно, совпадение. Проверить».

И приписал ниже, как проверять.

«Признак: если это он — то среди троек будет одна, поставленная наоборот. Он чередует. На хуторе была каждая четвёртая».

Про третью ночь надо рассказать отдельно.

Мы работали в дивизионной сапёрной роте, на устройстве перекрытия под склад боеприпасов, и работа была тяжёлая: накат в три слоя, брёвна с левого берега, которые сперва надо было поднять по глине на средний ярус.

К двум ночи все вымотались, и работа встала сама собой. Не по команде — просто люди сели.

Сели где стояли, привалились к брёвнам и минут двадцать никто не двигался, и никто их не гнал, потому что гнать было бесполезно.

Данилов сел рядом со мной и вытянул ноги.

— Ковалёв, я вот чего не пойму.

— Что

— Их же никто не заставляет, — он показал ладонью на сидящих. — Приказа на трёхслойный накат нету. Есть норма — один слой. Они могли бы в один и лечь спать.

— Могли бы, — не стал спорить я.

— Так почему кладут три?

Я поглядел на людей у брёвен.

— Потому что у них в октябре двадцать три человека убило, — ответил я. — Не в бригаде — у них тут, на этом клочке. Они их сами вытаскивали.

Данилов помолчал.

— То есть их научила не бумага.

— Не бумага, — подтвердил я.

— А что тогда их научило?

— Двадцать три человека, товарищ старший лейтенант.

Он долго молчал, глядя в темноту.

— Ковалёв, я вам сейчас скажу одну вещь, — произнес он и тяжело вздохнул.

Я на его слова молча кивнул.

— Я до войны географию преподавал, — он потёр забинтованные ладони. — Двенадцать лет. И у меня была самая

большая беда: дети не запоминают то, чего не потрогали.

Он поглядел на меня.

— Я им про горы рассказываю, а они не понимают, потому что гор не видели. Я им карту рисую — они запоминают карту, а не гору.

— И как вы это решали? — поинтересовался я.

— Никак не решал, — признал Данилов. — Возил их два раза на карьер, показывал разрез. Больше не разрешали, потому что не по программе.

Он усмехнулся невесело.

— А тут, знаете, чего смешно? Тут та же самая беда, только цена другая.

Я сидел и слушал этого обстоятельного занудного человека и понимал, что он мне только что объяснил, зачем нужны учебные поля, — лучше, чем я объяснял это сам себе четыре месяца.

— Товарищ старший лейтенант.

— Что?

— Вы это в справку впишите.

— Про детей и про карьер? — не понял он.

— Про то, что человек не запоминает того, чего не потрогал, — ответил я. — Только напишите казённым языком, а то не поймут.

Данилов подумал.

И вписал.

В окончательном тексте это выглядело так: «Практиче-

ское ознакомление личного состава с грунтом и конструкциями на макетах даёт результат, недостижимый при инструктаже и разборе схем».

Одна строчка вместо всего разговора.

Так оно с бумагами и бывает.

Двадцать восьмого октября мы с Даниловым сдали первую справку.

Восемь страниц, отпечатанных Лаптевым на трофейной машинке с шестью русскими литерами.

Первый раздел — про накат. С цифрами: сколько человек погибло в блиндажах с однослойным накатом и сколько в блиндажах с трёхслойным, за две недели, по трём батальонам.

Цифры были неопровержимые: двадцать три против четырёх.

Второй раздел — про формуляры. Про то, что на плацдарме их не ведёт никто, потому что бумаги нет, и что три человека погибли на собственном поле, поставленном девятнадцать дней назад.

Третий — про подъёмы. Наши семь уступов и наклонные колья.

А четвёртым я вписал то, чего Данилов не хотел.

— Ковалёв, это не наше дело, — отрезал Данилов.

— Товарищ старший лейтенант, это самое наше дело, — возразил я.

— Мы обобщаем опыт инженерного обеспечения, — не уступал он. — А вы мне сюда пишете про то, что противник переменил тактику минирования на данном участке.

— Так это и есть инженерное обеспечение.

— Это разведка, — не уступал он. — Это разведотдел, а не мы.

— Товарищ старший лейтенант, — я положил ладонь на лист. — Разведотдел про мины не спрашивает. Разведотдел спрашивает про войска и про технику.

Данилов молчал.

— А про то, как немец ставит, спрашивают только сапёры, — договорил я. — И спрашивают друг у друга, на перекуре. Он взял лист и перечитал мой раздел.

Дважды.

— Ковалёв, а откуда у вас про хутор? — спросил он наконец. — Тут написано «сравнить с почерком объекта под Малоархангельском, февраль сорок третьего». Вы что, февральские материалы читали?

Вот тут я едва не оступился.

Потому что февральские материалы я не читал. Мне про них рассказал Северцев в июле, у машины, за минуту до отъезда.

— Мне про них говорил капитан Северцев из тринадцатой армии.

— Который майор Северцев?

— Который теперь майор, да.

Данилов побарабанил пальцами по ящику.

— Ладно, — уступил он. — Оставим. Только я это отдельным листом сделаю и подпишу сам.

— Зачем сам?

— Затем, что ежели это глупость, то пусть будет моя глупость, — обронил он. — Я старший лейтенант, а вы старший сержант. С меня спросят мягче.

Я потом много раз думал про этого человека.

Он не был ни выдающимся, ни особенно смелым. Учитель географии из Калуги, обстоятельный, немного занудный, всё переспрашивающий по два раза.

И он за первый месяц работы дважды взял на себя то, что мог не брать...

Ответ на нашу справку пришёл девятого ноября.

Пришёл не бумагой, а человеком: из инженерного управления армии приехал капитан, привёз с собой двух сержантов и приказ, от которого у меня, когда я его прочёл, стало нехорошо в животе.

Приказом при бригаде создавались учебные поля.

Три штуки: одно на левом берегу, два на плацдарме. С отводом места, с назначением ответственных и с часами в расписании — двенадцать часов на человека, в две смены.

В приказе была ссылка на нашу справку.

И был пункт, которого мы не писали.

«Ответственным за оборудование учебных полей и прове-

дение занятий назначить старшего сержанта Ковалёва П. Н.»

— Поздравляю, — уронил Данилов, дочитав.

— С чем именно?

— С тем, что вы теперь не при штабе. Вы теперь при трёх полях, и с вас будут спрашивать за каждое занятие.

Он поглядел на меня поверх приказа.

— И с тем, что вас теперь будут ненавидеть все командиры батальонов бригады.

— А почему ненавидеть?

— Потому что у них некомплект, а вы у них забираете по двенадцать часов на человека, — объяснил он. — Двенадцать часов, Ковалёв, — это полторы смены. У них и так люди не спят.

Он оказался прав в тот же день.

Первым пришёл майор Хижняк из второго батальона.

Пришёл не к Данилову и не в штаб — пришёл прямо ко мне, нашёл меня на левом берегу, где я в тот час размечал первое поле, и начал без предисловий.

— Ковалёв? Это ты придумал?

— Что именно, товарищ майор?

— Двенадцать часов на человека, — он ткнул пальцем в бумагу. — У меня в батальоне двести одиннадцать человек. Двенадцать часов на каждого — это две тысячи пятьсот часов. Ты соображаешь, сколько это?

— Соображаю, товарищ майор.

Он явно хотел сказать что-то другое, но сделав над собой

волевое усилие, произнес:

— Не соображаешь, — отрезал он. — Это сто пять суток. Работы одного человека. У меня столько нету.

Я отложил рулетку.

— Товарищ майор, у вас за октябрь двадцать три человека погибли в блиндажах с однослойным накатом.

Хижняк замолчал.

— Двадцать три, — повторил я. — Я их считал по вашим же донесениям, лично. И трое погибли на собственном минном поле, потому что не было формуляра.

— Ты меня не тычь донесениями.

— Я вас не тычу. Я вам говорю, что двадцать шесть человек — это двадцать шесть раз по двенадцать часов, которые вы уже потратили. Только впустую.

Он поглядел на меня тяжело.

— Складно говоришь.

— Товарищ майор, приезжайте на поле сами.

— Это ещё зачем?

— Затем, что я вас поставлю на полосу и вы её не пройдёте, — обронил я. — И тогда мы с вами поговорим уже про часы.

Он приехал через четыре дня.

Приехал злой, с двумя ротными, явно намереваясь показать штабному сопляку его место.

Я поставил его на полосу.

Он её не прошёл.

Точнее, прошёл — за девять минут вместо трёх, дважды съехав по осыпи и один раз повиснув на верёвке, — и когда вылез наверх, сел на бруствер и минут пять молчал, отдуваясь.

— Ковалёв, поди сюда.

— Слушаю, товарищ майор.

— Глина эта откуда?

— Нанесённая. Мы её четыре дня таскали.

Он поглядел на осыпь, потом на свои ладони, потом на ротных, которые стояли внизу и старательно не улыбались.

— Сколько, ты говоришь, часов положено?

— Двенадцать на человека.

— Мало, — уронил Хижняк.

Он поднялся и отряхнул колени.

— Ковалёв, я тебе двадцать дам. Только ты мне гарантируй одну вещь.

— Какую такую вещь?

— Что после твоих двадцати часов человек не сядет на пятки.

Я поглядел на него.

И понял, что этот тяжёлый недовольный майор за девять минут на осыпи узнал то, чего ему никто не мог объяснить словами.

— Не гарантирую, товарищ майор, — выговорил я. — Гарантировать не могу.

— А что можешь?

— Могу гарантировать, что он это сделает тут, а не на том берегу.

Хижняк долго на меня глядел.

— Годится, — подытожил он.

Строили поля девять суток.

Строили тем же способом, что в Карачеве, только теперь у меня были люди по приказу, а не по доброй воле, и это оказалось хуже.

Человек, пришедший строить по приказу, работает ровно столько, сколько велено, и ни минуты сверх.

— Товарищ старший сержант, а до какого часа работаем?
— окликнул кто-то.

— До темноты, — отозвался я.

— Дык темнеет в пять, — заметил он.

— Значит, до пяти.

И в пять они клали лопаты, и это было правильно, и мне нечего было возразить, — только за девять суток мы сделали то, что в Карачеве сделали за двое.

На четвёртый день ко мне пришёл Гладышев.

Пришёл сам, вечером, когда все разошлись, и сел рядом на бревно.

— Товарищ старший сержант, у вас неправильно, — начал он.

— Что именно неправильно? — не понял я.

— Люди неправильно, — он поскрёб щетину. — Вы им

велите таскать, они и таскают. А зачем таскают — не знают.

— Я им объяснял, — возразил я.

— Вы объяснили в первый день, всем сразу, — не уступил он. — А их каждый день новых присылают, по разнарядке. Тех, кто вчера слушал, сегодня уже нету.

Я отложил рулетку.

Он был прав, и я эту простую вещь упустил: на строительстве не было постоянных людей. Батальоны присылали, кого могли оторвать, и состав менялся ежедневно.

— Гладышев, а ты как предлагаешь? — уточнил я.

— Дык вы им покажите, — пожал он плечами.

— Что показать-то?

— Ну вот эту, — он показал на готовый кусок обрыва, где уже держалась глина. — Пусть каждый, кто пришёл таскать, сперва по ней слазает. Один раз. И съедет.

Он поглядел на меня.

— Оно, товарищ старший сержант, десять минут занимает. Зато он потом глину носить будет иначе.

Я так и сделал.

С пятого дня всякий, кто приходил на стройку, начинал с того, что лез на готовый участок и съезжал по осыпи.

Один раз, десять минут.

И работа пошла быстрее — не от послушания, а оттого, что человек, съехавший по мокрой глине на собственном заду, начинал понимать, зачем он эту глину носит.

Гладышев за этот совет получил от меня махорку, кото-

рую я не курил и держал именно для таких случаев.

Поля заработали к двадцатому ноября.

Три площадки: одна на левом берегу, большая, с полным комплектом — ров, стенка, окно, труба; и две на плацдарме, поменьше, только под глину и подъём.

Инструкторов я готовил из своих.

Ткаченко вёл занятия на левом берегу. Кузьмин и Гладышев — на плацдарме. Все трое по-прежнему числились в третьей роте первого батальона, и Гурьянов их мне отдавал скрепя сердце, но отдавал.

К первому декабря через поля прошли шестьсот двенадцать человек.

Цифру считал Лаптев, и считал он её так же, как когда-то Мишка Прохоров: в столбик, с датами, по подразделениям, и подводил черту в конце каждой недели.

Я на эту черту глядел каждый раз и всякий раз вспоминал восемнадцатилетнего мальчишку в очках с примотанной дужкой.

Он к тому времени, судя по письмам Северцева, уже учился на курсах.

Двадцать девятого ноября на поле пришёл человек, которого я не ждал.

Я вёл занятие на левом берегу, с пополнением — сорок человек, только что прибывших из запасного полка, — и в

середине занятия увидел, что на краю площадки стоит молодой майор в чистой шинели и глядит.

Стоял он минут двадцать.

Потом дождался перерыва и подошёл.

— Старший сержант Ковалёв?

— Так точно, я, — отозвался я.

— Майор Тищенко, начальник инженерной службы дивизии, — представился он и подал руку. — Той самой, которая тут стоит.

Он оглядел полосу.

— Скажите мне, вот эти сорок человек — они откуда?

— Из запасного полка, товарищ майор. Пополнение бригады.

— А мои могут ходить?

Я не сразу понял.

— В каком смысле, товарищ майор?

— В прямом, — он повернулся ко мне. — У меня в дивизии сапёрный батальон и по роте в каждом полку. Люди новые, обстановки не знают. Я хочу их сюда присылать.

— Товарищ майор, поле бригадное.

— Знаю, что бригадное, — не смутился он. — Я потому и спрашиваю, а не приказываю.

Он поглядел на площадку, где Ткаченко в тот час гонял четвёрку по осыпи.

— Ковалёв, я вам скажу как есть. У меня за ноябрь на этом берегу сорок один человек. Из них по огню — четырнадцать.

Я молчал.

— Остальные — на работах, — договорил он. — На своих же. И я четвёртый месяц не знаю, что с этим делать.

— Присылайте, товарищ майор, — предложил я.

— Вы не спросите разрешения у своего начальства?

— Спрошу, — не стал я хитрить. — Только я знаю, что мне ответят.

— И что вам ответят?

— Что поле бригадное и что чужих пускать не положено. Тищенко усмехнулся.

— И как же тогда быть? — уточнил он.

— А я вас в журнал занесу как приданных, — обронил я.

— У меня в журнале графа «подразделение». Я туда напишу номер вашей роты и не напишу, что она не наша.

Он поглядел на меня внимательно.

— Ковалёв, а вам за это не будет?

— Будет, товарищ майор. Ежели заметят.

— А ежели не заметят?

— Тогда за декабрь через поле пройдут ещё двести человек.

Тищенко помолчал.

— Присылать буду с завтрашнего дня, — заключил он.

Он прислал.

За декабрь через наши три поля прошли сто девяносто четыре человека из дивизии, и все они записаны у Лаптева в журнале как приданные подразделения бригады.

Никто этого так и не заметил.

Или заметили и промолчали — я до сих пор не знаю.

А четвёртого декабря пришло письмо от Гурьева.

Второе.

«Товарищ старший сержант.

Сообщаю, что двадцать восьмого ноября старшина Панкратов Ерофей Ильич выбыл из батальона по ранению.

Ранение получено при разминировании складского помещения в городе Орле, осколок в грудь и в правое плечо. Отправлен в госпиталь в город Елец.

Сообщаю также, что помещение было проверено в сентябре и признано чистым.

Список Ваш я веду. За ноябрь проверено вторично 34 здания, снято 7 штук, из них 5 с механизмом.

Больше писать не о чем.

Гурьев».

Я прочитал это стоя.

Потом сел на ящик и просидел, наверное, полчаса, и Лаптев дважды подходил и дважды отходил, ничего не спросив.

Панкратов.

Тот самый Панкратов, который в июне сидел лицом к противнику, как старая сторожевая собака, и который сказал мне, что я умею ходить, и что таких он видел двоих, и что оба померли, но не от того.

Который в июле велел мне встать и работать в трёх метрах от Гриши.

Который в сентябре сказал: помни его по-другому — и не объяснил как.

Осколок в грудь и в правое плечо.

Госпиталь в Ельце.

Я достал тетрадь и стал искать чистую страницу, и на середине понял, что не знаю, что писать.

Потому что тетрадь у меня была про то, чего делать нельзя, и про то, как работает Хальм, — а тут не было ни того, ни другого.

Помещение проверили в сентябре и признали чистым.

В ноябре в нём сработало.

Это был он. Это был его срок, его расчёт и его почерк, и он достал старшину Панкратова через полгода после того, как ушёл из Орла.

И вот тут я в первый раз за всю войну почувствовал не злость.

Я почувствовал холодное и очень спокойное желание разобраться, как он думает, — до конца, до самой последней мелочи, — потому что иначе он будет доставать людей и через год, и через пять лет.

Я взял чистый лист и написал сверху:

«Хальм. Что известно на 4 декабря 1943 года».

И стал перечислять.

Всё, что помнил: хутор, скат под деревней, проход в заграждении, водокачку в июле, Орёл, двенадцать кварталов между двух рек, замедлители на полгода, засыпанный коло-

дец в Малых Двориках, шпалы, переломанные строго посередине, и тропки на правом берегу Днепра.

Вышло четыре страницы.

Я перечитал их и в самом низу приписал то, чего до этого дня не формулировал.

«Он воюет не с армией.

Он воюет со всем, что идёт за армией: с тылами, с госпиталями, с бабами, которые копают колодец, и со стариками, которые чинят шпалы.

Это значит, что война для него не кончится, когда кончится фронт».

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.